

А О Н И Д Ы



**Сборник статей
в честь Натальи Дмитриевны Кочетковой**

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АОНИДЫ

Сборник статей
в честь Натальи Дмитриевны Кочетковой

Альянс-Архео
Москва — С.-Петербург
2013

АОНИДЫ: Сб. статей в честь Н. Д. Кочетковой / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН; под редакцией Н. Ю. Алексеевой и А. А. Костина. — М.; СПб.: Альянс-Архео, 2013. — 192 с.

ISBN 978-5-98874-083-4

ISBN 978-5-98874-083-4

© Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН, 2013
© Коллектив авторов, 2013
© ООО «Альянс-Архео», 2013

ОТ РЕДАКЦИИ

Юбилей Натальи Дмитриевны Кочетковой — торжество науки о русской литературе XVIII века.

Нет исследователя в этой области, не знающего ее трудов. И трудно найти специалиста, ничем не обязанного юбиляру, не испытавшего на себе теплоту его участия, силу поддержки, живой заинтересованности в своей работе. Возглавив четверть века назад Отдел (тогда группу) по изучению русской литературы XVIII века, Наталья Дмитриевна превратила его в научный центр, став покровительницей муз, обращающих свой взор на русскую литературу XVIII века. Ее деятельность в этом направлении с редкой наглядностью показала, что занятие наукой — это не только работа отдельного ученого, погруженного в свой предмет, но и общее дело, а сама наука не монолог, а диалог, и даже хор.

«Простота — лучшая красота», — гласит русская пословица, и все, что делает Наталья Дмитриевна и как она делает, исполнено благородной простоты. К сегодняшнему торжеству Наталья Дмитриевна специально не стремилась, всегда старательно, ответственно, увлеченно работая, сегодня она собирает заслуженный урожай с неустанно возделываемой ею нивы.

О Наталье Дмитриевне писать трудно, столь много в ней добродетелей, и как всякие истинные добродетели — они просты. Как в старинной детской книжке, они присутствуют в ней во всем своем собрании: это доброта, честность, чистота души, терпение, скромность, трудолюбие, бескорыстие, желание и умение помочь ближнему. К этому надо добавить не менее редкие добродетели из недетских книг: ее удивительный такт и деликатность. Добавить надо и редкую бодрость духа, стойкость, мудрость. И многое надо было бы еще добавить... Одним словом, Наталья Дмитриевна воплотила в себе чаяния о человеке своих любимых писателей, Н. М. Карамзина и сентименталистов, и как будто сошла со страниц их лучших творений. В этом заключается феномен ее личности и бытия. Перед нами человек, по-настоящему проживший изучаемый им период, проникнутый ценностями своих героев. Как для героев ее исследований, литература явилась для нее созидающим началом. Помимо прекрасного воспитания, полученного ею в семье, и влияния Павла Наумовича Беркова, литература, и прежде всего литература сентиментализма создала Наталью Дмитриевну такой, какая она есть. О литературе сентиментализма заставляют сегодня с благодарностью вспомнить не только добродетели

Натали Дмитриевны, но и отличающее ее изящество. Изысканным цветком в букете дарований Натали Дмитриевны стоит назвать ее особую душевную грацию.

Как ученый Наталья Дмитриевна сформировалась под учительством П. Н. Беркова. Именно отсюда проистекает надежность ее исследований, их высокий профессионализм. Однако боготворя своего учителя, ревностно выполняя его заветы, она сумела создать свою версию историко-литературного исследования. Ее труды отличаются заметным ослаблением, почти до полного снятия идеологического (в данном случае в смысле политической идеологии) напряжения, мягкостью, сдержанностью. В идейном отношении на первом плане в них всегда стоит человек, в центре внимания — его духовные и нравственные устремления.

Интерес к нравственной проблематике привел Наталью Дмитриевну еще в начале ее научного пути к изучению русского масонства и его роли в формировании мировоззрения и личности писателей последней четверти XVIII века.¹ Обращение к этой теме, тогда полузапретной и плохо разработанной, было вызвано, по-видимому, духовной жаждой исследователя, не находившей утоления в условиях казенного атеизма. Восприятие Натальей Дмитриевной масонства как в первую очередь движения духовного, ее сосредоточенность на нравственной его составляющей, а не на мистической и тем более политической, помогли ее духовному росту.

Возвышенным представлением Натали Дмитриевны о человеке, ее верой в его нравственную силу и красоту следует, вероятно, объяснять ее обращение к творчеству Карамзина. С первых лет научной работы² Карамзин в пантеоне героев Натали Дмитриевны занял исключительное место. Образ Карамзина, встающий из ее монографии о писателе,³ заметно отличен от более поздних его образов, созданных Ю. М. Лотманом, Н. Я. Эйдельманом, И. З. Серманом. В ее книге не предлагаются механизмы, с неизбежностью искусственные, для постижения феномена его личности и творчества. Будучи единой природы с Карамзиным, Наталья Дмитриевна многое в нем воспринимает как естественное, не требующее специальных объяснений, всегда следствия отстраненности.

Если Карамзин явился учителем Натали Дмитриевны, во многом сформировавшим ее личность, другой ее герой, Д. И. Фонвизин, казалось бы, далек от нее. Однако Фонвизин в работах Натали Дмитриевны предстает в первую очередь не сатириком, с присущими ему, как и всем, в особенности русским, сатирикам душевными катаклизмами, а, как ни странно, писателем светлым. В ее исследованиях о Фонвизине акцентируются его внимание к человеку, любовь к добродетели, тонкость, чувствительность, и эти черты, впервые с такой ясностью показанные Натальей Дмитриевной, наметили его новую роль в истории русской литературы —

¹ Кочеткова Н. Д. Идеино-литературные позиции масонов 80–90 годов XVIII века и Н. М. Карамзин // Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.; Л., 1964. С. 176–196.

² Кочеткова Н. Д. Н. М. Карамзин и русская поэзия XVIII века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1964.

³ Kochetkova N. D. Nikolay Karamzin. Boston, 1975.

писателя, подготовившего явление русского сентиментализма.⁴ Так Наталья Дмитриевна отдает дань воспитавшей ее литературе, облагораживая своею личностью явления ее истории.

Изучение творчества Карамзина и поэзии последней четверти XVIII века подвело Наталью Дмитриевну к большой и сложной теме, к исследованию сентиментализма. Эстетические принципы этого направления, художественные запросы эпохи, Наталья Дмитриевна рассматривает не отвлеченно, а через историю человеческой личности. В центре ее изучения стоит человек переходной эпохи, история формирования нового светского психологического человека. И здесь так же, как в исследованиях о Фонвизине или о масонстве, не упрощая и не упуская из виду трагических переживаний чувствительного человека, она обращает свой взор преимущественно на его светлые стороны. Созданный ею в монографии о сентиментализме⁵ образ литературы этого периода и ее героев не приукрашен, однако Наталья Дмитриевна неизменно сосредоточена на успехах и достижениях, на духовных прорывах. Книга Натальи Дмитриевны о сентиментализме, как и ее изучение этого периода в целом, определили ее масштаб как ученого, сумевшего осветить большой, чрезвычайно важный и трудный период в истории русской литературы.

Новая тема исследования Натальи Дмитриевны, над которой она неутомимо работает в последние годы — история русских литературных посвящений — тема очень современная, в сегодняшней филологии, все более уходящей от проблем собственно литературы в историю, социологию, в изучение перитекстов, особенно актуальная. Однако и здесь для Натальи Дмитриевны важна не формальная сторона изучаемого предмета, а гуманистическая. Через посвящения она исследует историю человеческих отношений, прослеживает формирование нового отношения к литературному труду, историю представления об авторском достоинстве.⁶ Как всегда, на первом плане ее работы — человек, литературный человек и его история.

⁴ Кочеткова Н. Д. 1) Фонвизин в Петербурге. Л., 1984; 2) «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» Д. И. Фонвизина // Анализ одного стихотворения. Л., 1985. С. 66–77; 3) Фонвизин Д. И. // Словарь русских писателей XVIII века // СПб., 2009. Вып. 3. Р–Я. С. 312–320.

⁵ Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994.

⁶ Кочеткова Н. Д. 1) Литературные посвящения в русских изданиях XVIII — начала XIX века. Статья 1. Особенности жанра // XVIII век. СПб., 2002. Сб. 22. С. 66–84; 2) Литературные посвящения в русских изданиях XVIII века. Статья 2. Посвящения государю // XVIII век. СПб., 2004. Сб. 23. С. 20–46; 3) Литературные посвящения в русских изданиях XVIII века (Посвящения екатерининским вельможам) // XVIII век. СПб., 2006. Сб. 24. С. 96–124; 4) Литературные посвящения в русских изданиях руководителям учебных заведений и наставникам // XVIII век. СПб., 2008. Сб. 25. С. 39–63; Дружеские посвящения в русских изданиях XVIII века // XVIII век. СПб., 2011. Сб. 26. С. 132–168.

Наталья Дмитриевна — ученый, умеющий поднимать большие пласты материала, заниматься большими темами. Среди них и русская поэзия последней трети XVIII века, и ораторская проза, и ранняя русская критика. Не может не удивлять единство и целостности ее научных трудов, а одновременно их органическая связанность с ее большим жизненным и научным путем.

В дни юбилея Натальи Дмитриевны исследователи русской литературы XVIII века испытывают восхищение и благодарность. Эти чувства объединяют самых разных людей. Мысленно они протягивают друг другу руки и водят хороводы вокруг нее, воспевая радостные мадригалы. Тут и ее товарищи по Пушкинскому Дому, и ее бесчисленные ученики, тут и сотрудники других учреждений Петербурга, Москвы и всей исторической России, тут и иностранные коллеги из Англии, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Соединенных Штатов Америки, Японии, Новой Зеландии, Китая. Над идеальным хороводом витают тени ее учителей и ушедших друзей... Толпятся тени любимых ею писателей и писательниц XVIII века. Времена и пространства слились в общем ликующем хоре.

«И МЫ ЯБЛОКА ПЛЫВЕМ»
(из фразеологии журнальной полемики 1769 г.)

Летом 1769 г. во «Всеякой всячине» было напечатано письмо, начинающееся словами: «Господин наставник! По причине полезных наставлений, которые в ваших листах часто читаю, пришло мне на мысль назвать вас теперь сим именем». ¹ Автор письма рассуждает о проблеме сатиры «на лицо» и «на порок» и просит, чтобы читатели не искали нападок на себя лично. Завершая письмо, автор писал: «Если же кто и впрямь такое дурное имеет умоначертание, какое тем или иным сочинителем вообще похулено, посоветуйте такому лучше исправлять порок свой, нежели увеличивать оный прибавлением к тому и других пороков. А то обоих сих родов люди не постыдятся; первые всегда пышно восклицать о себе: *и мы яблока плывем*; вторые гневаться на тех, кои задолго прежде рождения их писали. Я же, сожалея о их злом роке, есмь навсегда вашим усердным слугою Галактион Какореков». ² Этот псевдоним принадлежал номинальному редактору «Всеякой всячины» Г. В. Козицкому (1724–1775). ³ На эту публикацию Козицкого вскоре ответил Н. И. Новиков в «Трутне» письмом «Г. издатель!», в котором обильно цитировал статью из «Всеякой всячины», в том числе из концовки: «Этот перекрапывает на свой салтык статьи из славного аглинского „Смотрителя“ и, называя их произведением своего умоначертания, восклицает: *и мы яблока плывем*, и прочая, и прочая, и прочая». ⁴

¹ Всякая всячина. 1769. [Статья] № 104. С. 268–270.

² Там же. С. 269–270.

³ См.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1957. Т. 2. С. 50; Степанов В. П. Козицкий Г. В. // Словарь русских писателей XVIII в. СПб., 1999. Вып. 2 (К–П). С. 96.

⁴ Трутень. 1769. Лист 20. Сентября 8 дня. С. 156. Для упоминания английского журнала у Новикова были все основания. Известно, что свыше двадцати номеров «Всеякой

В обеих публикациях выражение «и мы яблока плывем» выделено курсивом, так в обоих журналах выделялись цитаты или фразеологические обороты (поговорки и пословицы). Источник цитаты не был указан при перепечатках статьи Новикова, при этом Г. П. Макогоненко оставил цитату в том виде, в каком она была напечатана в журналах («и мы яблока плывем»), а П. Н. Берков добавил знаки препинания («и мы, яблока, плывем»)⁵. Этого выражения нет ни в сборниках русских пословиц и поговорок, ни в словарях русской фразеологии. Тем не менее Козицкий считал нужным выделить его курсивом, т. е. считал выражение цитатой. Его смысл довольно легко выводится из контекста статьи — это выражение напыщенного самодовольства. Но вот происхождение выражения, как и его форма, остаются не проясненными. Действительно, нет сомнений, что «яблока» в данном случае — это форма именительного падежа множественного числа среднего рода, но это аномальная форма. Здесь стоит помнить о том, что Козицкий родился на Украине, и следы украинского языка обнаруживаются и в цитированной статье. Например, наречие «пышно» употреблено в значении «гордо», а само письмо датировано «Месяца Липца 20 числа», т. е. 20 июля, причем Козицкий употребил даже не литературную (*липень*), а диалектную форму (*липец*). Влияние украинского языка в форме множественного числа «яблока» можно усмотреть разве что в окончании множественного числа среднего рода -а. К тому же, в украинском языке такой фразеологический оборот не зафиксирован.

Аналог русскому выражению Козицкого обнаруживается в польской литературе XVI–XVII вв.⁶ В одном из посмертно изданных стихотворений Яна Кохановского (1530–1584) есть не вполне прозрачная аллюзия к этому выражению («dopusć tym tu jabłkom pływać», т. е. «дозволь этим яблокам здесь плавать»)⁷, причем эта аллюзия нуждается в комментарии. А в конце XVII в. Вацлав Потоцкий назвал свое стихотворение «Му jabłka pływamy». И это небольшое (10 строк) грубоватое стихотворение раскрывает смысл выражения. Услышав, как некий мелкий блюдолиз-приживала, желая выдать себя за благородного, сказал, что «у нас тут в Опатове мало господ»,

всячины» являлись переводом или переделкой нравоучительных очерков из английского журнала, см.: *Левин Ю. Д.* Восприятие английской литературы в России: Исследования и материалы. Л., 1990. С. 44–52.

⁵ См.: *Новиков Н. И.* Избранные сочинения / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1951. С. 53, 54; Сатирические журналы Н. И. Новикова / Ред., вступ. ст. и коммент. П. Н. Беркова. М.; Л., 1951. С. 120, 540.

⁶ См.: *Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich* / Red. J. Krzyżanowski. Warszawa, 1969. Т. 1. S. 810.

⁷ См.: *Kochanowski J.* Dzieła polskie. Warszawa, 1976. Т. 2. S. 47.

автор приводит следующую притчу. Крестьянин вез на телеге яблоки, при переезде через реку яблоки высыпались в воду, а лошадь добавила в воду конских яблок, которые перемешались с яблоками. Когда вся эта куча плыла мимо толпы людей, то конские яблоки закричали: «Мы, яблоки, плывем».⁸ Потоцкий насмехается над теми, кто пытается всеми правдами и неправдами выдать себя за благородных, хотя их истинная природа всем очевидна. Смысл выражения полностью соответствует употреблению Козицкого и проясняет его грубоватую насмешку над теми авторами, которые безо всяких на то оснований чрезмерно превозносятся и чересчур высокого о себе мнения. Безусловное сходство между польским выражением «*my jabłka pływamy*» и русским «и мы яблока плывем» не дает, однако, оснований для предположения, что русское выражение позаимствовано из польского языка. Как и в русском, в польском языке выражение «*my jabłka pływamy*» встречается очень редко, а в XVIII в. вообще не зафиксировано. Сходство обоих выражений можно объяснить общим источником, и его указал А. Брюкнер в примечании к стихотворению Потоцкого. Название стихотворения «*My jabłka pływamy*» — это точный перевод латинского выражения *Nos roma natamus*.⁹ А вот у этого латинского выражения довольно долгая и запутанная история.

Впервые выражение *Nos roma natamus* отмечено в переписке итальянского гуманиста Анджело Полициано (1454–1494). Эти слова привел в своем письме к нему в 1491 г. Якопо Антикварио (1444–1549),¹⁰ рассчитывая, что

⁸ См.: *Potocki W. Ogród fraszek / Wyd. A. Brückner. Lwów, 1907. T. 1. S. 485:*

My jabłka pływamy
Słyszac wczora jednego szczęcзка pasorzyta,
Gdy do możniejszych, czymsi czyniac się, przypyta:
Niewiele nas tu panów, rzecze, w Opatowie,
W oczy mu stare ono powiedam przyslowie:
Wioząc, chłop rozsul jabłka w wodzie, koń też łajna,
Skoro się napił, puścił, bo mu to zwyczajna,
Wmieszawszy się kobyle między jabłka gowno,
Przyplnęło Donajcem na dół z nimi rowno,
I mijając przy brzegu pełno ludzi promy,
Głosem rzecze plugastwo: my jabłka pływamy.

⁹ См.: *Potocki W. Ogród fraszek. T. 2. S. 505.* Комментарий А. Брюкнера дословно повторен в новом издании сочинений В. Потоцкого, см.: *Potocki W. Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695. Warszawa, 1987. S. 691. (Dzieła / Opr. L. Kukulski. T. 2).* Л. Кукульский в название стихотворения ввел знаки препинания: «Мы, яблока, плывамы».

¹⁰ См.: *Poliziano A. Letters / Edited and translated by S. Butler. Cambridge, Mass., 2006. P. 216 (латинский оригинал), 217 (перевод на английский язык); Wesselski A. Vergessene Fabeln // Wesselski A. Erlesenes. Prag, 1928. S. 102–105.*

корреспонденту знаком этот фразеологизм. Затем в первой половине XVI в. это выражение встречается у разных немецких авторов, иногда даже в сокращенной форме *Nos roma*. В 1528 и в 1545 гг. его приводил в своих сочинениях Мартин Лютер.¹¹ А вскоре это выражение уже на немецком языке («*Hier schwimmen wir Öpffel*») попало в сборники поговорок и крылатых выражений.¹²

Между тем о происхождении фразеологизма ничего не было известно до тех пор, пока в 1544 г. известный немецкий филолог Иоахим Камерарий (1500–1574) не выпустил свое издание басен Эзопа, к которому добавил довольно большую подборку басен, написанных в эзоповском духе, возможно, самим Камерарием, но не входящих, конечно, в канон древнегреческого баснописца. Вот текст интересующей нас басни, опубликованной как раз в дополнениях:

Poma et Sterquilinium. Forte sublatum cum pomis sterquilinium subita aquarum eluvione fluitabat in eo loco, ubi dudum iacuerat. Tum se illud et in aquis vehi et ferri cum pomis praeclarum existimans, «Quam scite nos» inquit, «poma natamus.» Sed paulo post, humiditate dissolutum, in aquis evanuit.

*Fabula narratur contra gloriationis vanitatem.*¹³

Выражение *Nos roma natamus* получило большую известность как раз после публикации и дальнейших перепечаток басни.¹⁴ Есть, однако, сомнения в том, что выражение изначально было связано с эзоповской басней, опубликованной полвека спустя после первого употребления.¹⁵ Впервые употребивший этот оборот Якопо Антикварио пишет в своем письме Анджело Полициано, что умные люди, получив что-либо сверх ожидаемого,

¹¹ См.: *Wesselski A. Vergessene Fabeln. S. 103. Ср.: Luther M. Der XIV. Psalm. Wittenberg, 1537. Bl. L.* В этом произведении М. Лютер привел выражение сразу на двух языках: «*Nos poma natamus, wir Öpffel schwimmen*».

¹² См.: *Tappe E. Germanicorum Adagiorum cum latinis ac graecis collatorum, centuria septem. Straßburg, 1539. Bl. F; Eying E. Proverbiorum Copia, Etlich viel Hundert, Lateinischer und Teutscher schöner und lieblicher Sprichwörter. Eißleben, 1601. Bd 1. S. 510.*

¹³ *Camerarius J. Fabulae Aesopicae. Lugduni, 1571. P. 383. № 395.* Как указывает А. Вессельски, в издании 1544 г. эта басня напечатана на с. 322. — Перевод: «Яблоки и конский навоз. Конский навоз, поднятый внезапным разливом воды, случайно приплыл вместе с яблоками в то самое место, где он недавно лежал. Тогда он говорит, полагая себя прекрасным, так как и в воде несется и носится вместе с яблоками: „Знайте, как мы, яблоки, плаваем“. Но немного погодя, влагой разрушенный, в воде растворился. Басня рассказана против тщетности самохвальства».

¹⁴ См.: *Camerarius J. Fabulae Aesopicae. Lugduni, 1579. P. 383. № 395.*

¹⁵ Именно такое объяснение предложил С. Батлер в комментарии к письму Якопо Антикварио, см.: *Poliziano A. Letters. P. 349.*

приписывают это Природе либо Божеству, тогда как недалекие приписывают это только своим достоинствам. Вот о них-то и можно сказать: *Nos roma natamus*. Само выражение Якопо Антикварио предварил словами «в духе рассказа Поджо» (aut *Poggiana fabulae*). Хотя в фацетиях Поджо Браччолини этот оборот не встречается, в одной новелле речь идет как раз о разнообразных проявлениях «щедрости божией», которой жена объяснила долго отсутствовавшему дома мужу свои многочисленные благоприобретения.¹⁶ Вероятно, в среде итальянских гуманистов второй половины XV в. в устной традиции имел хождение какой-то забавный анекдот со словами *Nos roma natamus*, по мотивам которого Камерарий и сочинил басню. Но в немецком культурном ареале *Nos roma natamus* приобрело только уничижительный оттенок, без всякой добродушной иронии, а затем это изменение перешло и в другие национальные языки.

В начале XVII в. выражение *Nos roma natamus* попало наконец-то в словарь крылатых выражений: оно было помещено в раздел *Inaequalia* («Неравенство») со следующим комментарием: «*Hie schwimmen wir Apffel, sagte der Pferdtsdreck, da er auff dem Wasser unter den Apffeln schwam*» («Вот мы яблоки пльвем, сказал конский навоз, когда он плыл в воде среди яблок»)¹⁷ Вопрос с происхождением и значением выражения, казалось бы, прояснился, тем не менее оно не было частым и популярным. Так, в 1797–1798 гг. на страницах лейпцигского журнала «*Allgemeiner Litterarischer Anzeiger*» даже возникла переписка по поводу значения выражения *Nos roma natamus*, но вопрос был быстро разрешен.¹⁸ В середине XIX в. это выражение опять попало в словарь крылатых выражений,¹⁹ и все-таки полстолетия спустя в другом издании, на этот раз специализированном оксфордском журнале, возникла переписка по поводу значения выражения *Nos roma*

¹⁶ См.: *Поджо Браччолини*. Фацетии / Пер. с лат., коммент. и вступ. ст. А. К. Дживелегова. М.; Л., 1934. С. 71–72.

¹⁷ *Buchler J.* Thesaurus proverbialium sententiarum uberrimus Ex Germanicis, Latinis, Gallicis, Graecisque... in iuventutis studiosae gratiam congestus. Coloniae, 1613. P. 158. (То же: Coloniae, 1623. P. 158). А. Тейлор отнес разбираемое выражение к веллеризмам (см.: *Taylor A.* The proverb and An index to The proverb. Copenhagen, 1962. P. 209). Действительно, немецкая фраза в словаре соответствует структуре этого особого вида фразеологического высказывания, для которого А. Тейлор и ввел понятие веллеризм.

¹⁸ См.: *Promies W.* «*Nos poma etc.*» // *Photorin: Mitteilungen der Lichtenberg-Gesellschaft*. 1979. Heft 1. S. 33–36.

¹⁹ См.: *Binder W.* Novus thesaurus adagiorum latinorum. Lateinischer sprichwörtertschatz. Stuttgart, 1861. S. 249. Ср.: *Pierer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder Neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe*. Altenburg, 1861. Bd 12. S. 131.

patamus, причем вопрос был задан не кем иным как знаменитым в будущем немецким филологом-классиком Бруно Снеллем (1896–1986).²⁰ И хотя на вопрос Снелля тут же поступили даже два ответа, один из которых был очень дельным и обстоятельным,²¹ этот случай довольно наглядно показывает, что выражение *Nos roma patamus* так и не вошло в разряд часто приводимых по случаю латинских крылатых слов. В 1928 г. появилась уже упоминавшаяся статья А. Вессельского с характерным названием «Забывшие басни», один из разделов которой посвящен тщательному разбору истории фразеологизма *Nos roma patamus* в гуманистической среде XV–XVII вв.²² В конце XX в. латинское выражение вновь попало в словарь латинских пословиц.²³ Вероятно, обороту *Nos roma patamus* было суждено остаться на страницах словарей и в ученом обиходе. Так, латинский оборот мог в 1811 г. мелькнуть в переписке выдающихся славистов В. Копитара и Й. Добровского,²⁴ а Гегель употребил это выражение в лекциях по философии религии, причем в одном из изданий XX в. латинская фраза была напечатана с ошибкой.²⁵

В России в своей оригинальной форме разбираемый латинский оборот был употреблен, как кажется, лишь один раз. В самые последние годы XVII в. в Москву приехал Григорий Скибинский, малоросс по происхождению, который провел около десяти лет в Европе: восемь лет он учился в Риме и получил докторскую степень, затем посетил Францию, Германию,

²⁰ См.: *Snell B.* «*Nos roma patamus*» // *Notes and Queries*. 1922. Vol. 12 S. XI. Nov. 11. P. 393.

²¹ См.: *Bensly E.* «*Nos roma patamus*» // *Notes and Queries*. 1922. Vol. 12 S. XI. Nov. 25. P. 435–436; *Cook C. A.* [«*Nos roma patamus*»] // *Ibidem*. P. 436.

²² См.: *Wesselski A.* *Vergessene Fabeln*. S. 102–105. Эту статью не учел В. Промис в своей работе 1979 г. Дело, возможно, в том, что сборник статей А. Вессельского был издан ограниченным тиражом в количестве 300 пронумерованных экземпляров. Например, этой книги нет в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга. Я пользовался экземпляром № 300 из собрания библиотеки Гарвардского университета (США).

²³ См.: *Thesaurus proverbiorum medii aevi: Lexikon der Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittelalters / Begründet von S. Singer*. Berlin; New York, 1995. Bd 1. P. 164. — Разбираемое выражение попало далеко не во все современные словари латинских пословиц и поговорок, словарь С. Зингера является, скорее, исключением. Например, его нет в многотомном издании: *Proverbia sententiaequae Latinitatis medii ac recentioris aevi = Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters und der frühen Neuzeit in alphabetischer Anordnung / Hrsg. P. G. Schmidt*. Göttingen, 1982–1986. Bd 1–3.

²⁴ См.: *Ягич И. В.* Письма Добровского и Копитара в повременном порядке. СПб., 1885. С. LIX, 213. (СОПЯС. Т. 39).

²⁵ См.: *Löfstedt B.* Ein lateinisches Zitat bei Hegel // *Orpheus: Rivista di umanità classica e cristiana*. 1998. Vol. 19/20. P. 99–100.

Польшу. В Москве Скибинский рассчитывал занять место преподавателя в академии, но с трудом ему удалось устроиться только домашним учителем Александра Львовича Нарышкина, малолетнего двоюродного брата Петра I.²⁶ Для своего ученика Скибинский составил учебное пособие по поэтике на латинском языке («Brevis poetica et prosodia»), в посвящении которой и употребил выражение *Nos roma natamus*.²⁷

Трудно судить о том, почему у этого оборота сложилась такая неровная судьба, и ученым несколько раз приходилось восстанавливать его историю. Возможно, в гуманистической среде XV–XVI вв. грубоватый смысл выражения никого не смущал (в том числе и Мартина Лютера), во второй половине XVIII в. поговорка постепенно выходила из обихода, а в XIX в. скатологический юмор мог посчитаться и не вполне пристойным.

Латинская пословица *Nos roma natamus* возникла, видимо, в XV в. и сначала получила хождение в ученой среде. Выражение употреблялось преимущественно в своей оригинальной форме, иногда сокращенной до «*Nos roma etc.*», и нередко цитировалось на национальных языках: немецком («*Wir Äpfel schwimmen*»), английском («*We apples swim*»), польском («*My jabłka pływamy*»), чешском («*My jablka plyneme*»),²⁸ русском («И мы яблока пльвем»). Благодаря публикации И. Камерария в сборнике эзоповских басен, оно закрепилось, хотя басня «Яблоки и конский навоз» и не входила в канонические собрания басен Эзопа.²⁹

Басни Эзопа, в том числе приписываемые ему, переводились на русский язык много раз, начиная с XVII в.³⁰ Но басня «Яблоки и конский навоз» была переведена, кажется, только один раз, в 1747 г. С. С. Волчковым:

²⁶ См.: Буланин Д. М. Скибинский Г. А. // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4. Дополнения. С. 636–640.

²⁷ См.: Соколов Е. И. Библиотека имп. Общества истории и древностей российских. М., 1905. Вып. 2. С. 552, 553; Соболевский А. И. Сочинения Григория Скибинского. М., 1914. С. 243. А. И. Соболевский отметил, что «текст Поэтики Скибинского изобилует ошибками и описками» (Там же. С. 242). Этим можно объяснить то, что в обеих публикациях посвящения занимающий нас оборот напечатан с ошибкой («*Nos roma natamus*»). В недавнем переиздании «Сочинений» Г. Скибинского это чтение оставлено без изменений, см.: Сочинения Григория Скибинского. Переписная книга домового казны патриарха Никона. Рязань, 2009. С. 312.

²⁸ См.: *Flajšhans V. Česká přísloví: Sbíрка přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku*. Praha, 1911. Díl 1. Sp. 424.

²⁹ Этой басни нет в самом полном собрании: *Aesopica: A series of texts relating to Aesop or ascribed to him or closely connected with the literary tradition bearing his name / Collected and critically ed. by V. E. Perry*. Urbana, 1952. Vol. 1.

³⁰ См.: Тарковский Р. Б., Тарковская Л. Р. Эзоп на Руси. Век XVII. СПб., 2005. Басни Эзопа / Перевод., ст. и коммент. М. Л. Гаспарова. М., 1968.

Яблоки с шевьяками.

От великих дождей вода в реке так поднялась, что целую груду яблок и близко их лежавшую кучу лошадиного навозу с берегу снесла. Как далеко навоз вместе с яблоками вниз по реке ни плыл, то шевьяки непрестанно кричали: «Смотрите, добрые люди, как мы яблоки плывем».³¹

Далее в книге идет басня «Персик с яблоком и терновник», после которой помещено «Учение из двух басен»:

Всякая тварь на свете, а особливо подлый человек, большего себе почтения требует, нежели подлинно достоин и в самом деле заслужил, а сие от безмерного самолюбия и от незнания самого себе происходит.³²

Следом Волчков поместил нравоучительное «Примечание», также переведенное:

Сия дерзость на свете весьма обыкновенная, что всякий дурак никого лучше себя на свете не ставит. Он и подобные ему ко всякому слову говорят «мы», также во всякие случаи и ко всякому человеку в дела вплетаются, будто бы без них обойтись было нельзя, а ежели на них при свече без очков посмотреть, то никуды не годятся, и выеденова яйца не стоят. Как лошадиные шевьяки в сей басне «мы» кричали, так многие самых нижних чинов служители властно тож делают и на подобие шевьяков говорят: «Мы кописты и пищики; мы приставы, ходоки, сторожи и россыльщики; мы целовальники, чумаки и гвоздари; мы казенных львов и медведей поводильщики; мы сапожники, повары и портные; мы каменщики, трубочисты, коновалы» и им подобные светила света сего. Таким образом подлый народ везде, а особливо в республиках и избирательных королевствах поступает и с своим безумным «мы» в важные дела вмешивается. «Мы это сделаем», говорит глупый и грубый подлый народ в своей необузданной дерзости, а чрез то государственным чинам и знатным особам немалый ущерб на чести и славе их делают, которые в достойное за озлобление своего высокого чина и преимущества наказание могут им сказать. Вы Езоповым шевьякам подобные скоты, вы пьяницы и драчи, вы плуты и ленивцы, вы бездельники и напрасная хлебаешь, вы бездушная тварь, глупые мухи, и всякий навозу подобной сброд и прочая.³³

Источник и басни, и примечания известен — это издание басен Эзопа в переводе и с примечаниями Р. Летранжа (1616–1704), что и указал сам

³¹ Езоповы басни, с нравоучением и примечаниями Рожера Летранжа, вновь изданные, а на российский язык переведены в Санкт-Петербурге канцелярии Академии Наук секретарем Сергеем Волчковым. СПб., 1747. С. 380–381.

³² Там же. С. 382.

³³ Там же. С. 382–383. Если басня переведена Волчковым довольно близко к немецкому оригиналу, то нравоучительное «Примечание» является не столько переводом соответствующего примечания Р. Летранжа, сколько приспособлением его основной мысли к русским условиям. Не вполне обычное словосочетание «вы бездельники и напрасная хлебаешь» на современный русский язык можно перевести как «вы бездельники и нахлебники».

Волчков на титульном листе. Однако это не было амстердамское издание 1714 г. на французском языке, как указано в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII века». ³⁴ Дело в том, что в этом издании всего 111 басен против 188 у Волčkова, к тому же в этом издании нет интересующей нас басни. ³⁵ Эта басня есть в издании Летранжа басен Эзопа на английском языке, ³⁶ но Волчков переводил с немецкого перевода Летранжа, изданного в Лейпциге в 1714 г. ³⁷ Перевод Волčkова несколько раз печатался в XVIII в. (1747, 1760, 1783, 1791) и дважды в начале XIX в. (1810, 1815), но распространению выражения «мы яблоки пльвем» в русском языковом обиходе это никак не помогло. Впрочем, довольно неожиданно оно встречается у старообрядческого писателя первой половины XIX в. Андреяна Сергеева (1770–1847). Свое сочинение «Возникшее новоженство в соглашениях безбрачных старообрядцев» он завершил насмешливыми словами: «И успехами такими воспользуясь, торжественно ликовали и песни Езоповы воспевали: „И мы яблоки, яблоки, и мы яблоки, яблоки!“» ³⁸ Таким образом, связь разбираемого выражения с басней Эзопа была очевидна для самых разных читателей.

Смысл употребленного Козицким выражения «и мы яблока пльвем» теперь ясен — это издевательская насмешка над сочинителями, которые слишком высокого о себе мнения. С латинским выражением *Nos roma patamus* Козицкий познакомился, скорее всего, еще в Германии, где провел десять лет, занимаясь классическими языками в Лейпцигском университете. По возвращении в Россию Козицкий слыл знатоком древних языков, он не только много переводил с греческого и латыни, но переводил и на латинский язык, причем не только с русского, но и с греческого языка. ³⁹

³⁴ См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. М., 1966. Т. 3. С. 422–423. № 8548. Здесь в качестве источника перевода указано издание: *Les fables d'Esop, et de plusieurs autres excellens mythologistes, accompagnées du sens moral et des réflexions de m. le chevalier Lestrangé.* Amsterdam, 1714.

³⁵ Благодарю А. А. Костина за это наблюдение, а также за ряд библиографических указаний.

³⁶ См.: *Fables of Aesop and Other Eminent Mythologists: With Morals and Reflections.* By Sir Roger L'Estrange. The 2nd ed. London, 1694. P. 124–125. Первое издание вышло в 1692 г.

³⁷ См.: *Esopi Fabeln. Mit Herrn Roger l'Estrange Lehren und Anmerckungen aus dem englischen übersetzt.* Leipzig, 1714. S. 324–327.

³⁸ Мониинское согласие в Москве // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1869. Кн. 3. V. Смесь. С. 131.

³⁹ См.: *Кулябко Е. С.* Замечательные питомцы Академического университета. Л., 1977. С. 95–103.

В своем письме во «Всякой всячине» Козицкий привел знакомое ему латинское выражение в русском переводе не только по той причине, что иностранные пословицы и поговорки печатались в журнале в русском переводе (например, «Итак, пусть будут без удачи те, кои по французской пословице между коркою и деревом пальцы положили»)⁴⁰ Скорее всего, Козицкий, которого современники считали знатоком русского языка,⁴¹ привел латинское выражение в русском переводе, рассчитывая на образованного читателя, который уже знаком с переводом басни Эзопа «Яблоки с шевьяками», как назвал ее Волчков. Н. И. Новиков, безусловно, таким читателем был, поэтому он вполне осознанно повторил выражение «и мы яблока плывем» в «Трутне».

⁴⁰ Всякая всячина. 1769. С. 79. Нужно отметить, что русского эквивалента латинскому выражению *Nos roma natamus* нет, лишь отчасти ему соответствует пословица «Козьи кругляши не орехи, мышинный сор не перчик», которая зафиксирована только в собрании В. И. Даля, см.: *Даль В.* Пословицы русского народа: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 292.

⁴¹ В 1767 г. он был избран почетным членом Академии наук «во внимание к его удивительным способностям по части русского языка» (*Кулябка Е. С.* Замечательные питомцы Академического университета. С. 96).

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ-ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ А. П. СУМАРОКОВЫМ 83 ПСАЛМА

Поэзия А. П. Сумарокова, хоть издавна и привлекала внимание историков литературы, до сих пор таит в себе много неразрешенных вопросов. К одному из них относится ее связь с народной поэзией. Не только филологам, но всякому любителю поэзии Сумарокова ощутимо, что она происходит из другого источника, чем поэзия его современника М. В. Ломоносова, и что в отдельных его стихотворениях явно различимы народные мотивы. Однако все это находится пока на уровне ощущений, поскольку исследования, выходящего за рамки общего описания как самой поэзии Сумарокова, так и ее связи с современной ей русской книжной и народной поэзией пока не проведено. Важным вкладом в изучение проблемы стало исследование Н. Д. Кочетковой песен Сумарокова,¹ заметно приблизившее к пониманию меры их зависимости от народных песен. Об одном из стихотворений Сумарокова, с непредсказуемо звучащей в нем народной темой, пойдет речь в этой статье. Вот оно:

Счастлив живущий в селенье прелестном,
Тамо, где царствует вечный покой,
Где при Царе и Владыке Небесном,
Грудь не терзается часто тоской.

Тамо веселье слезам непричастно,
Тамо обиды, гонения нет,
Там наше чувство лишь Богу подвластно,
Сильный бессильного тамо не жмет.

¹ *Кочеткова Н. Д.* Песни Сумарокова: К истории текстов // Рус. литература. 2012. № 1. С. 20–30.

Нет разной власти, един там Содетель,
Нет и вельможей, един только Царь,
Сан и богатство — одна добродетель,
Все мы там равны и равная тварь.

Тамо прибытка пристрастия чужды,
Там, преклоняясь, друг другу не льстим,
Нет во покорстве ни малой там нужды,
Друг друга любим, Создателя чтим.²

Если бы это стихотворение не было напечатано Сумароковым в корпусе его переложений псалмов с названием «Из 83 псалма», едва ли в нем можно было бы узнать текст псалма.³

В псалме говорится о томлении души вне церкви и о молитвенном общении с Богом, только в этом, по псалмопевцу, состоит блаженство души. Сумароков меняет содержание псалма, резко переключая регистры с высшего, духовного, на гуманный. Не о блаженстве души идет речь в его стихотворении, а о блаженстве, точнее, счастье человека. Первое слово сумароковского переложения *счастлив* задало иную, отличную от псалмической, тональность, приведшую затем к новому содержанию. Смена тональности могла произойти невольно: еще в середине XVIII века слова *блажен* и *счастлив* в поэтическом языке были синонимичными,⁴ но уже в 1770-е годы их значения начинают расходиться, сначала на уровне стилистических оттенков. Первый стих стихотворения «Счастлив живущий в селенье прелестном» единственный стих, заимствованный из псалма почти полностью:

² Сумароков А. П. Полн. собр. всех сочинений. М., 1781. Т. 1. С. 67.

³ Текст 83 псалма: *Жель возлюбленна селения Твоя, Господи сил!* ³Желает и скончается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе. ⁴Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя, олтари Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой. ⁵Блажени живущии в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. ⁶Блажен муж, емуже есть заступление его у Тебе; восхождение в сердце своем положи, ⁷во юдоль плачевную, в место еже положи, ибо благословение даст законополагаяй. ⁸Пойдут от силы в силу: явится Бог богов в Сионе. ⁹Господи Боже сил, услыши молитву мою, внуши, Боже Иаковль. ¹⁰Защитниче наш, виждь, Боже, и призри на лице христа Твоего. ¹¹Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ: изволий примегатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешничих. ¹²Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих, ходящих незлобием. ¹³Господи Боже сил, Блажен человек уповаяй на Тя.

⁴ Еще В. К. Тредиаковский переводил начало 111 псалма (Блажен муж, бояйся Господа...) как «Счастлив! Бога кто боится...» (об этом см.: Алексеева Н. Ю. Примечания // Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою. СПб., 2009. С. 604).

«Блажени живущии в дому Твоем» (5 ст.). Хотя здесь, в начале стихотворения, все различие между псалмом и его переложением, приведшее в итоге к новому смыслу и заключается в «почти», в легком и даже в первых словах в неуловимом сдвиге смысла, основанном на взаимозаменяемости церковнославянской и русской лексики. Одно из значений церковнославянского слова *селение* — *дом*, это слово использовано во втором стихе псалма: «Коль возлюбленна селения Твои, Господи сил». Если бы Сумароков ограничился заменой лишь первого слова (блажени — счастлив) и третьего (дом — селение), это был бы своеобразный перевод («Счастлив живущий в селени Твоем»), сохраняющий смысл стиха. Однако неожиданно он ставит на место притяжательного местоимения *Твоем* эпитет *прелестный*, резко и уже непоправимо меняя смысл стиха и всего псалма. На церковнославянском языке *прелестный* означает *обманчивый*, а само свойство прелести принадлежит Дьяволу. Хотя в русском языке во времена Сумарокова слово *прелестный* уже начинало приобретать новые смысловые качества *приятный, очень хороший*, в религиозном контексте оно и тогда, и до сих пор не утратило своего негативного значения. В стихотворении Сумарокова слово *прелестный* означает, конечно, *приятный*, на что указывает и первое слово стиха *счастлив*, и второй стих, и все содержание стихотворения. Но даже в таком значении эпитет *прелестный* не совместим с характеристикой Божьего селения (дома).

В восприятии всего стихотворения принципиальное значение имеет исходная установка при его чтении. Если мы читаем его как переложение псалма, оно не может не вызвать по крайней мере недоумения. Замена Божьего дома на дом прелестный не может не восприниматься как святотатство. С первого стиха Сумароков уводит читателя из псалмического пространства в иное, отказываясь от священного смысла псалма. По всей видимости, это происходило вначале произвольно, к этому приводила Сумарокова синонимия и омонимия русского и церковнославянского языков, разграничение лексики которых еще не полностью сложилось, а только складывалось. Слово *прелестный* в его мирском значении определило мирское звучание всего первого стиха. Единственно сохраненное из пятого стиха псалма слово *живущий* сразу приобрело свое прямое жизнерадостное значение. Точно так же слово *селение* отдалилось от своего церковнославянского значения *дом, шатер* к русскому *село, деревня*. *Счастлив живущий в селени прелестном...* Как хорошо! Какое изящное начало для идиллии или для переложения в стиле рококо второго эпода Горация.

Однако уже со второго стиха *Тамо, где царствует вечный покой* созданный в первом стихе образ счастливой жизни начинает размываться. Смысл и звучание этого стиха двоякие. В заданной первым стихом тональности

слово *тамо* означает *там, в селении*, а его форма, звучащая простонародно, обуславливает неточное сниженное понимание эпитета *вечный* в значение *долгий, непреходящий* (а не в высоком смысле вечности как *жизни бесконечной*). *Покой* же, как известно, необходимое условие идиллического счастья. Однако одновременно стих может быть прочитан иначе. К двойственности его звучания, помимо намеченного первым стихом контекста, ведет двойственное стилистическое значение местоимения *тамо*. *Тамо* — церковнославянизм, а одновременно и простонародная форма местоимения *там*. Как и многие церковнославянизмы, форма местоимения *тамо* и сегодня встречается в отдельных диалектах русского языка. В церковнославянском же языке *тамо* употребляется как правило без существительного и означает «в иной жизни, на Небесах, в Раю». Если *тамо* воспринять как церковнославянизм, то и *вечный покой* следует понять буквально, при таком прочтении смысл стиха в указании на мир иной — Царствие Небесное. Третий стих *Где при Царе, при владыке Небесном...* утверждает в правильности второго прочтения из предложенных второго стиха. Однако четвертый стих *Грудь не терзается часто тоской* низвергает из Рая на землю. Не терзается часто, но все-таки терзается. Странная характеристика райского блаженства.

Все три следующие строфы оставляют нас в зыбком ощущении, что речь, по-видимому, идет все же о райском блаженстве. Но в то же время перечисленные Сумароковым блаженства носят исключительно мирской характер. Все они заключаются в социальном и имущественном равенстве. Перечисление этих блаженств, которое и составляет 2–4 строфы, построены на отрицании земных социальных пороков. Они даются по единой формуле: там нет + название порока. Там нет «разной власти», вельмож, богатства, сановничества. Все там равны. Эти социальные и имущественные несбыточности выступают условиями того, что там нет обиды, гонения, лести, пресмыкания (преклонения), покорства. Там люди добродетельны (добродетель заменяет там сан и богатство) и друг друга любят.

Перед нами картина земного рая, нарисованная по лекалу «земного рая» как социальной утопии в народном духе. По всей видимости, Сумарокову были знакомы рассказы о земном рае, известные на Руси, начиная с XII века.⁵ Следы таких народных представлений отразились в его «Хорек превратному свету» («Прилетала на берег синица...»), написанном для маскарада «Торжествующая Минерва» (1763). Интерес к идеальной жизни

⁵ Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977. См. также: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967.

общества сопутствовал Сумарокову, видимо, издавна. Уже в 1759 году в журнале «Трудолюбивая пчела» появился его очерк «Сон. Счастливое общество», который принято считать первой русской литературной утопией. Между тем описанное в этом «сне» общество правильное, думается, отнести не к утопическому, а к идеальному. Не стоит, кажется, видеть следы утопизма и в «Хоре к превратному свету», заморская жизнь представлена в нем идеальной, но не утопичной. Подлинно утопические, то есть несбыточные для общества обстоятельства, мы находим только в разбираемом стихотворении. Нарисованное в нем общество помещено, правда, в двоящееся зыблущееся пространство, между небом и землей.

Поскольку точного источника выраженных в стихотворении социальных мечтаний, вероятно, нет, тем замечательнее отдельные совпадения сумароковских положений с утопическими представлениями, известными на Руси. Все они, как и сумароковская утопия, негативны, то есть в них называется благом отсутствие зла. Так поразительно совпадает со строкой Сумарокова вписанное в роман «Александрия» ее русским переводчиком Ефросином (вторая половина XV века) «Нет тамо вельможей».⁶ Еще более замечательны совпадения стихотворения с отдельными положениями пугачевских манифестов, во многом отразивших народные утопические чаяния.⁷ Примечательно, что строки стихотворения и строки манифестов писались в одно и то же время. Стихотворение создавалось Сумароковым в начале пугачевского бунта осенью 1773 года — зимой 1774 года.⁸ В середине XX века совпадения социальных мотивов стихотворения и манифестов сочли бы намеренными, что позволило бы увидеть в стихотворении Сумарокова сочувствие народному восстанию. Но сегодня более вероятной представляется случайность сходства. Даже если Сумарокову были известны манифесты Е. Пугачева, ничего, кроме ужаса, они внушить ему не могли, использовать он их не мог. Однако стихотворение от совпадения нарисованного в нем утопического общества с манифестами народного бунта не только не проигрывает, а напротив, становится более значительным. Голос поэта совпал с гласом народа, не в этом ли следует видеть подлинную народность поэзии?

⁶ Веселовский А. Н. Об источниках «Сербской Александрии» // Из истории романа и повести. СПб., 1886. Вып. 1. С. 224.

⁷ Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. М., 1974. См. также: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. С. 145–154; Кизеветтер А. А. Русская утопия XVIII века // В помощь евреям, пострадавшим от неурожая. Литературно-художественный сборник. СПб., 1901.

⁸ О датировке стихотворения см.: Алексеева Н. Ю. Поздний Сумароков как переводчик псалмов // Russian Literature (в печати).

Народность стихотворения Сумарокова заключается не столько в том, что оно навеяно народными представлениями о счастливой жизни, сколько в умении выразить мечту народа (народа в его целом, а не простонародья) о справедливости. И тема, и стиль стихотворения, и его форма оказываются едины, они открывают какую-то чрезвычайно важную для русского духа тему, и что примечательно, в уже готовой тональности.

Стихотворение написано простым стилем. Нейтральность его лексики в нескольких только местах нарушается разговорными словами и оборотами. К ним относится *жмет* в значении *притесняет*, *сильный* в значении *богатый*, *знатный*. Между тем «Словарь Академии российской» фиксирует эти значения, стало быть, они не противостояли только еще складывающемуся литературному языку. К простонародным словам мы отнесли бы сегодня и форму местоимения *тамо* вместо *там*. Однако, как уже говорилось, ее стилистическое значение двойственно, это единственный в стихотворении (если не считать двусмысленного *селения*) церковнославянизм. Отсутствие в нем других славянизмов приводит к восприятию и его как простонародного.

Итак, переложение 83 псалма Сумарокова и по своему содержанию, и по своему стилю далеко уходит за пределы парафрастической поэзии. С точки зрения истории поэзии здесь можно, вероятно, говорить о смешении жанров: псалма и утопической идиллии. Но в данном случае нас интересует не это. Народность этого стихотворения, его социальная проблематика предвосхитили некрасовские темы. И что удивительно, форма стихотворения, четырехстопный дактиль, предвосхитила некрасовскую мелодию. Здесь нельзя говорить о прямой генетической связи. Семантического ореола вокруг стихотворения Сумарокова не возникло. Его переложения псалмов в кругу любителей поэзии мало ценились, а дактили в XVIII веке не были востребованным метром. После Сумарокова из больших поэтов ими писал только уже Жуковский, активно Сумарокова не любивший, и конечно, отнюдь ему не подражавший. Свои дактили он наполнил новым романтическим европейским содержанием. Сумароковское звучание с его народно-социальной тематикой вернул дактилю только Некрасов. Как явствует из его писем и ранних пьес, он Сумарокова не читал и знал понаслышке. Переключка стихотворения Сумарокова «Из 83 псалма» и поэзии Некрасова возникла не исторически, не как преемственность. Это онтологическое повторение. И в этом повторении отражается, как представляется, сущностное свойство всякой культуры. В культуре присутствуют определенные локусы. Мы можем приближаться к ним или удаляться. При вхождении в них культура вспоминает присущие этому локусу темы и облекает их в наиболее полную для них, оптимальную форму. В случае

актуализации присущей определенной культуре, всегда присутствующей в ней (иногда подспудно) темы, эти формы повторяются, поскольку всякое содержание (идея) стремится, как учил Платон, к обретению своей оптимальной формы. Если рассматривать переключку Сумарокова с Некрасовым в этих категориях, нельзя не признать, что тема социальной справедливости — одна из заветных тем русской народной культуры, что существует семантика метра и что русский четырехстопный дактиль — оптимальная форма народной, в романтическом понимании этой категории, поэзии.

П. Е. Бухаркин

**«ОПЫТ РОССИЙСКОГО СОСЛОВНИКА»
В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д. И. ФОНВИЗИНА**

1.

При обращении к русским авторам XVIII столетия достаточно острым оказывается вопрос соотношения их устоявшейся литературной репутации с одной стороны и той их роли в современном им литературном движении, которая — конечно, лишь отчасти, — но все-таки раскрывается филологическим анализом в его историко-литературном развороте. Действительно, место, занимаемое литераторами XVIII века в развитии русской литературы, очень часто оценивается, прежде всего, сквозь призму их возникшей еще в XIX столетии репутации, а не обнаруживается посредством объективного филологического исследования. Вместе с тем результаты последнего нередко могут позволить в чем-то иначе увидеть вклад писателей XVIII века в русскую литературную историю и обнаружить ограниченность их литературной репутации, подчас сужающей и даже искажающей их реальный вклад в развитие словесного искусства. Если иметь в виду вторую половину XVIII века, то в числе первых имен в данной связи должно быть названо имя Д. И. Фонвизина.

Д. И. Фонвизин принадлежит к очень немногим авторам XVIII столетия, чье творческое наследие не осталось замкнутым в пределах его века. Не только А. С. Пушкину, П. А. Вяземскому или Н. В. Гоголю Фонвизин был остро интересен, но и Ф. М. Достоевскому, т. е. человеку, чье культурное сознание с XVIII веком в непосредственной связи не состояло. Даже в начале XX века В. В. Розанов вспоминал Фонвизина как потенциального литературного собеседника, а не музейный экспонат. Однако при этом литературная репутация Д. И. Фонвизина оказалась значительно уже ампли-

туды его писательских устремлений. Его художественные достижения постепенно свелись в первую очередь к сатире, преимущественно театральной, т. е. к его комедиям. «Сатиры смелый властелин» — эта общеизвестная пушкинская формула обычно воспринимается как если и не исчерпывающая, то, во всяком случае, достаточно полная характеристика фонвизинского литературного наследства. Причем в его сатирических сочинениях особый интерес вызывала идейная их направленность: на что направлено обличающее слово Фонвизина, что он стремится высмеять и какие ценности утвердить — вот те вопросы, которые, в первую очередь, стремились выяснить исследователи его творчества. Конечно, и поэтика его произведений, и роль писателя в истории русского литературного языка не раз становились предметами как специальных, так и обобщающих исследований,¹ но в целом в его творчестве постепенно стали видеть прежде всего проявление общественной, даже политической деятельности, т. е. Фонвизин приобрел к концу XX века репутацию политически ангажированного писателя-разоблачителя агрессивно-просветительской, чуть ли не революционной ориентации.² Его сугубо литературное значение как-то невольно оттеснялось несколько на задний план.

Нет сомнений в глубокой и постоянной заинтересованности Фонвизина в делах политического толка, в его интересе к идеологии и в крайне критическом отношении к общественной ситуации его времени. Так же бесспорен и фонвизинский интерес к идеологическому регистру общественной мысли: и в его переводах, и в оригинальной его публицистике политическая идеология занимает, возможно, центральное место. Отчетливо она ощутима и в главных его достижениях — «Бригадире» и, особенно, «Недоросле». Явно проступают идейные пристрастия писателя и в прозаических сочинениях 1780-х годов, достаточно назвать его повесть «Каллистен».

¹ Так или иначе, чисто литературные аспекты творческой деятельности Фонвизина рассматривались едва ли не во всех посвященных ему работах середины — конца минувшего столетия. См., например: *Гуковский Г. А.* Фонвизин // История русской литературы. М.; Л., 1947. Т. IV. С. 152–200; *Берков П. Н.* Театр Фонвизина и русская культура // Русские классики и театр. М.; Л., 1947. С. 7–108; *Пигарев К. В.* Творчество Фонвизина. М., 1954; *Макогоненко Г. П.* Денис Фонвизин: Творческий путь. М.; Л., 1961; *Кулакова Л. И.* Денис Иванович Фонвизин: Биография писателя. М.; Л., 1966; *Степанов В. П.* Фонвизин // История русской литературы. Т. 1: Древнерусская литература. Литература XVIII века. Л., 1980. С. 655–672; *Кочеткова Н. Д.* Фонвизин в Петербурге. Л., 1984; *Рассадин С. Б.* Сатиры смелый властелин. М., 1985.

² Особенно в данном отношении характерны работы Г. П. Макогоненко, несмотря на содержащиеся в них многие проницательные наблюдения над поэтикой и стилистикой произведений Фонвизина.

И все же сводить значение литературного творчества писателя к сатирическому обличению екатерининской эпохи и распространению определенных политических идей вряд ли стоит; место Фонвизина в развитии русской литературы в первую очередь обусловлено его достижениями как художника, а не попытками утвердить ту или иную идеологию, и уж тем более не политическими его действиями. В историю русского литературного слова он вошел, все же, не как боевитый публицист, но как выдающийся (если не великий) писатель, опробовавший громадный свой талант в весьма разных жанрах и использовавший различные стилистические стратегии.

Это становится ясным, в частности, при обращении к фонвизинским переводам. Сам Фонвизин придавал им несомненное значение; с осознанием безусловной важности подобного рода словесных трудов он неоднократно пишет о собственных переводческих начинаниях в письмах сестре, Ф. И. Фонвизиной, в замужестве Аргамаковой, а также в «Чистосердечных признаниях в делах моих и помышлениях», где, в частности, с чувством глубокого удовлетворения достигнутым упоминается переведенная им в 1769 году прозаическая поэма П.-Ж. Битобе «Иосиф». О переводе же «Похвального слова Марку Аврелию» А.-Л. Тома Фонвизин вспомнил буквально накануне смерти, в разговоре с представленным ему Г. Р. Державиным И. И. Дмитриевым.³

Для Фонвизина, как, впрочем, вообще для пишущих (и читающих) людей XVIII столетия, переводы были такой же литературой, как и порожденное собственной фантазией словесное творчество. И рассмотрение этих переводов — по возможности вне заданных устоявшейся литературной репутацией писателя интерпретационных предпочтений — едва ли не лучше, чем что-либо другое, сможет продемонстрировать разнонаправленность его творческих поисков: он двигался сразу в нескольких направлениях, наметив (и отчасти реализовав) различные возможности, открывающиеся перед русской прозой во второй половине XVIII — начале XIX веков — имею в виду возможности, располагающиеся в плоскости литературы как искусства слова, а не как отражении литературно-общественной или, тем более, политической идеологии.

Конкретным примером, подтверждающим эти общие рассуждения, может послужить «Опыт Российского сословника», опубликованный в 1, 4 и 10 частях журнала «Собеседник любителей российского слова» за 1783 год и представляющий собою наброски, точнее — фрагменты толкового сло-

³ Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь // Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986. С. 301.

варя синонимов русского языка. Данное сочинение отражает филологические занятия писателя, который, почти параллельно с работой над «Опытом...» принимал участие в инициированном только что учрежденной Российской Академией составлении первого академического словаря русского языка (в завершеном своем виде получившем название «Словаря Академии Российской»). Фонвизин, судя по всему, ценил этот, отчасти лексикографический, труд, во всяком случае, относился к нему далеко не беспристрастно (что, впрочем, вообще было ему свойственно применительно к собственным сочинениям — он был весьма щекотлив в отношении своего авторского достоинства): когда на первую часть «Опыта...» появился критический отклик — в «Послании господам издателям Собеседника от Любослова» (Собеседник любителей российского слова. 1783. Ч. 2); под псевдонимом Любослов, возможно, скрывался — по мнению П. Н. Беркова — еп. Дамаскин (Семенов-Руднев),⁴ Фонвизин отреагировал на него весьма запальчиво и даже с явным оттенком нетерпимости («Примечания на критику «Опыта Российского сословника» — Собеседник любителей российского слова. 1783. Ч. 3).

Подобное отношение Фонвизина к «Опыту...» было обусловлено не просто важностью для него лингвистических вопросов, но и тем, что в этом произведении он, с одной стороны, выразил многие свои горестные наблюдения над пороками русской жизни (то обстоятельство, что в «Опыте...» речь шла о человеческой природе вообще, не мешало читателям соотносить сказанное в нем с конкретными явлениями именно российской действительности), а с другой — попытался решить некоторые стилистико-языковые задачи, бывшие для него крайне весомыми. И если первая сторона «Опыта Российского сословника» получила подробное освещение в научной литературе (иногда даже со столь сильным на себя нажимом, что начинала казаться преувеличенной), то вторая, сугубо литературная, задача, поставленная перед собою писателем — предложить русские аналоги афористической моралистики, столь важной для европейской классицистической прозы, прежде всего, французской, — привлекала значительно меньшее внимание. Пожалуй, с наибольшей отчетливостью писала о ней Н. Д. Кочеткова: «В „Опыте...“ Фонвизин объединил свои филологические наблюдения с афористическими высказываниями по вопросам морали и политики».⁵ А вместе с тем как раз данная сторона «Опыта Российского

⁴ См.: Кочеткова Н. Д. Семенов-Руднев // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 2010. Вып. 3. Р–Я. С. 114.

⁵ Кочеткова Н. Д. Фонвизин // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. С. 314.

сословника» и делает его особенно интересным: своими стилистическими параметрами и речевой композицией это сочинение оказалось причастным одной из центральных силовых линий фонвизинского творческого поля, с которой во многом связано значение писателя для истории русского литературного стиля.

2.

Как известно еще по исследованиям Н. С. Тихонравова и А. Д. Галахова,⁶ «Опыт Российского сословника» хотя и задумывался как словарь синонимов русского языка, не был, однако, полностью оригинальным произведением Фонвизина, представляя в большей своей части перевод. Основным источником писателю здесь послужил словарь французских синонимов («*Synonymes françois*»), составленный аббатом Г. Жираром и впервые вышедший в свет в июле 1718 года (под заглавием «*La justesse de la langue françoise, ou les Différentes significations des mots qui passent pour synonymes*»⁷); в 1769 году он был дополнен Н. Бозе. Совсем недавно отношения фонвизинского перевода к его основному источнику рассмотрел В. Д. Рак, внесший целый ряд тонких уточнений и дополнений.⁸ Среди высказанного В. Д. Раком — в свете занимающей нас ныне проблемы — несомненную важность имеет указание на непосредственное обращение Фонвизина при составлении статей «Опыта...» к книге Ш.-П. Дюкло (1704–1772) «Размышления о нравах нынешнего века» (первое издание — 1749 г., русский перевод под названием «Рассуждения о нравах сего времени» был издан в Петербурге в 1813 году). Это внимание Фонвизина к книге Дюкло представляется весьма значимым, оно, в частности, позволяет предположить, что и в собственном сочинении писатель видел, — очевидно, наряду с филологической его составляющей — образец той же самой афористической моралистики, достаточно видным представителем которой и был Шарль Дюкло.

Данное предположение подтверждает и такой важный факт, как обращение Фонвизина в поисках основ для собственных сентенций не к лекси-

⁶ Тихонраков Н. С. Сочинения: В 3 т. М., 1898. Т. 3. Ч. 2. С. 43–44, 331; Галахов А. Д. Идеал нравственного достоинства человека по понятию Фонвизина // Библиографические записки. 1858. Т. 1. № 13. С. 391–392.

⁷ Рак В. Д. Фонвизин в работе со словарем французских синонимов аббата Габриэля Жирара // Западный сборник. В честь 80-летия Петра Романовича Заборова. СПб., 2011. С. 351.

⁸ Там же. 351–358.

кографическим характеристикам Жирара-Бозе, но к максимам Дюкло — так сказать, через голову синонимического словаря. И пусть эти (известные нам благодаря разысканиям В. Д. Рака) обращения были единичными,⁹ они тем не менее весомы как свидетельство определенной тенденции; к тому же нельзя не привести слова исследователя — «...подобное могло совершаться и при написании других статей».¹⁰ Во всяком случае, многие статьи «Опыта Российского словника», такие, например, как «*Проступок, вина, преступление, злодеяние, грех*», «*Беспорочность, добродетель, честь*», «*Правота, правосудие*», «*Ленивый, праздный*» и т. д., являются прекрасными образцами именно моралистических афористических характеристик «нравов фонвизинского века»: создавая их, писатель стремился, скорее, не к точности лексикографического описания, но к предельно сжатым и одновременно изящным собственным лаконизмом характеристикам людских свойств и страстей. В качестве примера можно привести (из названных выше) статью «*Правота, правосудие*»: «*Правота есть добродетель, влекущая нас отдавать каждому справедливость. Правосудие, кажется, определено награждать и наказывать сходственно с законом. Судья не властен внимать правоте своей, а повинен следовать правосудию, то есть закону. Правосудие есть главное достоинство судьи; но правота должна быть главная добродетель государя, ибо он своею правотою властен умягчать излишнюю строгость правосудия*».¹¹

Языковая форма этого и многих подобных ему фрагментов отмечена особым стилистическим совершенством, благодаря которому Фонвизин и добивается искомого в моралистике — и ей необходимого — эффекта убедительности. Как и должно в афоризме, в «Опыте...» он «достигается за счет формы, в которой эта мысль выражена, за счет способа изречения мысли, т. е. прежде всего, за счет риторических средств»,¹² причем важ-

⁹ В. Д. Рак указал на два случая несомненного обращения Фонвизина к книге Дюкло — оба в статье «Беспорочность, добродетель, честь».

¹⁰ Рак В. Д. Фонвизин в работе со словарем французских синонимов аббата Габриэля Жирара. С. 358.

¹¹ Фонвизин Д. И. Собр. сочинений: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 230. В дальнейшем при цитировании этого издания том и страницы указываются в тексте. Стоит обратить внимание на содержательную близость данной максимы и ряда важнейших произведений позднего Пушкина; в первую голову здесь следует назвать «Капитанскую дочку» со столь важным для нее противопоставлением милости (по Фонвизину — правды) и справедливости (по Фонвизину — правосудия); в не зависимости от вопроса о знакомстве Пушкина с фонвизинским «Опытом...» данный факт заслуживает самого пристального внимания.

¹² Ляпушкина Е. И. Герменевтические практики: Островский. Тургенев. Достоевский. СПб., 2009. С. 26.

нейшей из этих риторических средств является речевая форма максимы, форма, стремящаяся к совершенству. Здесь лексикографические намерения Фонвизина помогали ему как моралисту: необходимость кратко и четко определить значение синонимических слов способствовали морализаторской цели — охарактеризовать различные проявления людских нравов.

Следует обратить внимание на то, что в большинстве статей «Опыта» не дается толкование синонимов — Фонвизин сразу же приступает к определению значения определяемых этими синонимами понятий в человеческом общежитии: не смысл слов, но смысл страстей и поступков его занимает: «*Робкий* бежит назад, *трусливый* нейдет вперед; *робкий* не защищается, *трусливый* не нападает. Нельзя надеяться ни на сопротивление *робкого*, ни на помощь *трусливого*» («*Робкий, трусливый*» (I, 224) или же начало статьи «*Понятие, мысль, мнение*» — «*Понятие* есть то спознание, которое разум имеет о какой-нибудь вещи или деле. *Мысль* есть действие существа разумного. *Мнение* есть следствие размышлений» (I, 225). Нередко писатель вместо объяснения того или другого синонима обращается к нравственным причинам обозначаемого словом поведения: «Злодеяния происходят от безмерного развращения сердца. Злодей обыкновенно бесчеловечен, вероломен и враг общия безопасности» (I, 227). И другие статьи «Опыта...» не менее выразительные в данном отношении — приведу только один пример (из многих возможных) — статью «*Ленивый, праздный*»: «*Ленивый* бывает, кажется, таковым больше от расположения тела, а *праздный* больше от расположения души. *Ленивый* боится при деле труда, а *праздный* не терпит самого дела. Трудолюбивый становится иногда *ленивым*, но не *праздным*, ибо *праздный* отраду не бывал трудолюбивым. *Ленивый*, побеждая свой порок любочестием, может быть отечеству весьма полезен своею службою; *праздный* шатается обыкновенно или без дела у двора, или в непрестанных отпусках, или не служа в отставке, и исчезает с именем презрительного тунеядца» (I, 228). Здесь, как и во многих других случаях — размышления моралиста, живописующего характер, а не лексикографа, описывающего семантику тех либо других лексем.

Очевидно, в «Опыте Российского сословника» Фонвизин стремился решить сразу несколько задач. Так, нет оснований отрицать филологическую направленность этого сочинения, хотя для последней трети XVIII века оно отличается не вполне лингвистическим характером: филология второй половины столетия, в том числе и русская, была в своих лексикографических начинаниях уже гораздо серьезнее,¹³ то, что предложил писатель, было

¹³ См. о русской лексикографии XVIII века: *Вомперский В. П.* Словари XVIII века. М., 1986; *Биржакова Е. Э.* Русская лексикография XVIII века. СПб., 2010.

именно опытом, причем с явно литературным уклоном. Надо заметить, что в других своих лексикографических работах Фонвизин был, пожалуй, более лингвистически основателен; об этом свидетельствуют написанные одновременно с «Опытом...» инструкции для работы над академическим словарем — «Начертание для составления Толкового словаря славяно-русского языка» и «Способ, коим работа Толкового словаря удобнее ...производиться может», а также уже упоминавшиеся «Примечания на критику „Опыта Российского сословника“». ¹⁴ Кроме этого, в данном произведении писатель выразил целый ряд своих социально-политических пристрастий, в очередной раз проявив остроту сатирического дара. Но одновременно с этим он видел перед собою и чисто литературную цель: как показывает стилистическая фактура «Опыта...» и то, на какие источники он ориентировался при его создании, едва ли не в первую очередь Фонвизин хотел представить в нем *художественно убедительный* образец афористической моралистической прозы, русские варианты которой не казались ему пока удовлетворительными. И это ему вполне удалось.

3.

Морализаторская афористичность была, несомненно, присуща творчеству Фонвизина в целом — подтверждения этому легко обнаружить в его письмах, особенно, из Франции и Италии, повести «Каллисфен», «Рассуждении о суетной жизни человеческой» и особенно в «Чистосердечных признаниях в делах моих и помышлениях», где можно найти не просто отдельные выразительные сентенции, но и более обширные фрагменты, очень близкие, например, французским мемуарам XVII–XVIII веков, или некоторым нравственно-психологическим этюдам Ж. Лабрюйера: имею в виду, прежде всего, рассказ Фонвизина о единственной подлинной любви в его жизни, но и не только его. Тут же следует указать на отчетливо афористический характер многих высказываний положительных героев «Недоросля» — Правдина и Стародума; здесь достаточно вспомнить ставшие знаменитыми слова Стародума — «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время» (I, 130). Вообще афористичностью многих реплик,

¹⁴ О серьезности лексикографических занятий Фонвизина и о постоянстве его к ним интереса см.: *Кочеткова Н. Д.* Фонвизин в Петербурге. С. 186–198. Надо заметить, однако, что лингвистические и нравоописательные проблемы были в его сознании, очевидно, неразрывно связаны; так, в письме к О. П. Козодавлеву, представляющем собой защиту «Начертания» от критики И. Н. Болтина, он свободно переходит от лексикографических проблем к моралистико-сатирическим и наоборот.

чрезвычайно близко приближающихся к сентенциям, «Недоросль» представляет собою в некотором роде исключительное явление в русской прозаической драматургии, и не одного XVIII века. Кстати, в поисках идей и словесных способов их афористического воплощения Фонвизин обращался к французской моралистике: во французских письмах — к той же книге Ш. Дюкло «Размышления о нравах нынешнего века», на что указывал уже П. А. Вяземский; разбирая же фонвизинские комедии, он обратил внимание на заимствования в них из Ж. Лабрюйера и Фр. Ларошфуко.¹⁵

Нельзя сказать, чтобы фонвизинская склонность к афористичности вовсе игнорировалась, однако при характеристике его места в литературном движении эта сторона его творческой манеры все же недооценивалась. Вместе с тем именно афористическое начало его прозы во многом определяет роль Фонвизина в истории русского литературного языка и, особенно, литературного стиля. А. И. Горшков, возможно, наиболее тщательно и многосторонне рассмотревший язык фонвизинской прозы в его историческом значении, связывал это значение прежде всего с расширением «арсенала языковых средств „живого употребления“»¹⁶ в творчестве писателя 1780-х годов. При всей важности отмеченных им процессов, далеко не они одни сделали Фонвизина языковым, а вернее, стилистическим предшественником А. С. Пушкина, П. А. Вяземского (имею в виду их прозу), а если отодвинуть исторический горизонт, то и А. И. Герцена. Писатель подготовил их прозаическое творчество не только и даже не столько чисто языковой фактурой своих произведений, т. е. не соотношением в их языке славянизмов, просторечий и заимствований, но своим стилем, едва ли не в первую очередь — его лаконичным динамизмом, свободным, однако последовательно проводимым чередованием простых предложений с более сложными синтаксическими конструкциями, особой ролью ударных афористических высказываний в создании упругого и собранного прозаического ритма, как раз и заставляющего вспомнить «отчетливый и изысканный лаконизм»¹⁷ Пушкина, его способность в запоминающейся своей естественным совершенством речевой форме выразить резкую мысль. Причем, так же, как и в пушкинской прозе, данные стилистические параметры отчетливо связывались в творчестве Фонвизина с интеллектуальной, «метафизической»

¹⁵ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Фон-Визин. СПб., 1880. Т. V. С. 87–89. О возможном влиянии Лабрюйера на Фонвизина вскользь упоминает и Т. Г. Хатисова (*Хатисова Т. Лабрюйер и его характеры // Лабрюйер де Ж. Характеры или нравы нашего века. М.; Л., 1964. С. 18*).

¹⁶ Горшков А. И. Язык предпушкинской прозы. М., 1982. С. 118.

¹⁷ Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977. С. 83.

(как выразились бы люди пушкинского поколения) насыщенностью слова, что предполагало логичность, рациональность и обилие антитез.¹⁸

Такая важность афористической составляющей фонвизинского стиля заставляет задуматься над ее возможными литературными истоками. «Опыт Российского сословника» указывает на один из них — французскую моралистическую прозу. Однако свойственный его стилю естественный лаконизм, проникнутый мыслью, русский писатель мог почерпнуть не только в непосредственно афористических сочинениях; французская интеллектуальная проза Века Просвещения в целом, скорее всего, служила ему здесь образцом и ориентиром. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует работа Фонвизина над переводом «Слова похвального Марку Аврелию» А.-Л. Тома (1777); ряд важнейших для его стилистики примет позволяет поставить данное переводческое предприятие в один ряд с «Опытом Российского сословника».

«Слово похвальное Марку Аврелию» было далеко не первым опытом Фонвизина в области ораторской прозы; наиболее близко оно другому эпидейктическому «слову» писателя, на этот раз вполне оригинальному — «Слову на выздоровление его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича в 1771 году»; можно сказать, что более позднее произведение своей проблематикой как бы подхватывает первое: в обоих обсуждается примерно один и тот же круг просветительских политико-социальных идей.¹⁹ Но вот стилистическая их фактура различна.

«Слово на выздоровление...» создано, как писал Г. А. Гуковский, «в высокаторжественном стиле славянизированных ораторских произведений, образцы которых дал Ломоносов»,²⁰ а до него — целая плеяда церковных проповедников.²¹ «Слово похвальное...» также остается в целом в границах славянорусского языка, в нем отчетливо заметна церковнославянская литературно-языковая традиция, однако его стилистические параметры подвергаются достаточно существенным трансформациям, прежде всего, меняются ритмические доминанты ораторского стиля. Особую роль

¹⁸ Логическая основа лаконизма прозы Фонвизина была отмечена А. И. Горшковым (*Гориков А. И. Язык предпушкинской прозы.* С. 93).

¹⁹ О близости обоих «Слов» см.: *Пигарев К. В. Творчество Фонвизина.* С. 117–119; *Кочеткова Н. Д. Фонвизин.* С. 312.

²⁰ *Гуковский Г. А. Фонвизин.* С. 169.

²¹ См. о панегирической прозе предшествующего Фонвизину периода: *Матвеев Е. М. Русская ораторская проза середины XVIII века: Панегирик в светской и духовной литературе.* СПб., 2009.

начинают играть сравнительно короткие самостоятельные предложения, синтаксически и семантически завершенные и имеющие несомненный оттенок сентенций: «Злых токмо людей оплакивать должно, ибо содеянного собою зла уже исправить не могут» (II, 194), «...Нравственное воспитание совершает человека и величество его составляет» (II, 196), «Дабы познать, что есть добродетель, надлежит прежде познать, что есть человек» (II, 201) и т. п. Не отменяя общей ораторской направленности стиля «Слова похвального...» с его экспрессивностью и частым использованием риторических фигур (в первую очередь, таких, как обращение, восклицание, вопрос), создающих атмосферу эмоциональной приподнятости, такая тенденция все же существенно меняет общую стилистическую окраску произведения; в нем с достаточной мерой отчетливости начинается проступать то моралистико-афористическое начало фонвизинской прозы, о котором у нас и идет речь и которое через несколько лет привело к созданию «Опыта Российского сословника».

Новые по сравнению с русской ораторской традицией стилистические качества «Слова похвального...» были обусловлены различными причинами, в их числе — литературной манерой его героя — императора Марка Аврелия Антонина, фигура которого, а отчасти — и его «Размышления», были к тому времени известны в России.²² Но основным фактором был здесь все же стиль французского подлинника, которому Фонвизин пытался следовать, что, кстати, было отмечено в рецензии, появившейся в «Санкт-Петербургском вестнике» (1778. Ч. 1. Февраль): ее автор, раскрывая между прочим принадлежность перевода Фонвизину (правда, это не было секретом, имя Фонвизина упоминалось в объявлении о продаже книги, появившемся в «Санкт-Петербургских ведомостях» в июле 1777 года²³), писал, что переводчик: «в переводе своем сохранил силу и красоту подлинника».²⁴

Как известно, Фонвизин был против Франции предубежден, во всяком случае, после своего туда вояжа; его крайне острое в своей предвзятости отношение ко многим сторонам французской жизни, в том числе — и жизни

²² См. о рецепции Марка Аврелия в России XVIII века: *Гаврилов А. К.* Марк Аврелий в России // Марк Аврелий Антонин. Размышления. СПб., 1993. С. 117–136.

²³ В этом объявлении попутно отмечалась «чистота языка», свойственная произведениям Фонвизина. См.: *Кочеткова Н. Д.* Фонвизин. С. 312.

²⁴ Цит. по кн.: *Пигарев К. В.* Творчество Фонвизина. С. 299. Данная рецензия, по мнению Г. П. Макогоненко, была написана самим Фонвизиним (см.: *Фонвизин Д. И.* Собр. соч. Т. 2. С. 672–674), однако основания для подобного заключения несколько шатки, так же как и для заключения об ее принадлежности П. И. Фонвизину (см.: *Гаврилов А. К.* Марк Аврелий в России. С. 124).

культурной (вызвавшее спор между П. А. Вяземским и А. С. Пушкиным), отразилось в его письмах сестре и П. И. Панину.²⁵ Однако, как свидетельствует и его перевод «Слова похвального...», и его работа над «Опытом Российского сословника», именно во французской литературе он находил импульсы для формирования, может быть, наиболее исторически продуктивной тенденции собственного прозаического стиля.

²⁵ Впрочем, и к Италии, судя по итальянским его письмам, Фонвизин был не многим благосклоннее.

«УЛИССОВЫ СПУТНИКИ» М. Н. МУРАВЬЕВА И «УЛИСС И ЕГО СОПУТНИКИ» Я. Б. КНЯЖНИНА

Басня М. Н. Муравьева «Улиссовы спутники» мало привлекала внимание исследователей, возможно, причиной тому ее «промежуточное» положение. Как известно, Муравьев дебютировал в 1773 г. томиком «Басни. Книга первая»,¹ за которым должна была следовать вторая книга. Однако она так и не вышла, между тем как некоторые басни первой книги были переработаны автором для готовившегося издания «Собрания стихотворений М. Муравьева» в конце 1790-х гг. — начале XIX в.² Среди бумаг писателя из планировавшейся им второй книги сохранились лишь перечень десяти басен и тексты двух басен, созданных во второй половине 1770-х гг. «Улиссовы спутники» — одна из них.³ Впервые басня была напечатана в томе муравьевских «Стихотворений», изданном Л. И. Кулаковой в 1967 г.⁴

¹ *Муравьев М. Н.* Басни лейб-гвардии Измайловского полку фурыера Михайлы Муравьева. СПб., 1773. Кн. 1.

² ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 154. Беловой список.

³ Там же. № 232. Л. 139. Черновик. «Улиссовы спутники» обозначены как «Баснь седьмая», а в списке «Содержания второй книги басен» (Л. 139 об.) занимают восьмое место.

⁴ *Муравьев М. Н.* Стихотворения / Вступ. ст., подгот. текстов и примеч. Л. И. Кулаковой. Л., 1967. С. 76–78; 326–327 (Б-ка поэта, большая серия). На С. 77 воспроизводится автограф другой басни, «Соловей и жаворонок» (С. 78–79; 327). В недавнем большом томе, посвященном жанру басни в России, стихотворение перепечатывается «по списку Государственного Исторического Музея» (Русская басня XVIII–XIX века: Собр. сочинений. М.; СПб., 2007. С. 440), по всей видимости, из издания 1967 г. (ср.: с. 434), в ссылке на источник не учитывается разница, установленная Л. И. Кулаковой, между «списком» (ОПИ ГИМ. № 154) и «автографом» (ОПИ ГИМ. № 232. Л. 139).

Басня состоит из 41 вольного ямба (6, 5, 4, 3, 2-стопных) с мужской и женской рифмовкой, чаще парной, а во вступительном четверостишии и перед концом басни — охватывающей. По своему содержанию она крайне противоречива. Как в некоторых юношеских («Нептун, Минерва, Вулкан и Момус», или «Суд Момов», «Зевес», или «Зевес и гром») и более поздних («Изгнание Аполлона») баснях Муравьева, сюжет этой басни связан с античной мифологией, в частности с известным эпизодом из «Одиссеи» о Цирcee (песнь X, ст. 135–399). Однако в «Улиссовых спутниках» причудливо сочетаются использование хорошо известной читателям классицистической обработки темы Лафонтеном в басне «Les compagnons d'Ulysse» (Спутники Улисса)⁵ с нарочито русским и даже простонародным колоритом.

В начале басни рассказчик предлагает послушать «сказку» типа «Бовы», и использует известный сказочный зачин «Был-жил царь». Если «царя» зовут по-римски *Улисс*, то «ворожея-плутовка / и льстива<я>, как торговка» носит греческое имя «Киркея», однако рассказчик использует и вариант «Цирцея». Вместе с тем аудитории, к которой обращается повествователь, очевидно, неизвестны ни то, ни другое имя, ни «покойный» Гомер, ни причины, заставившие Улисса «весь век / Из города в другой [...] протаскаться, / Не знаячи своей отчизны доискаться». «Дщерь Солнцева» влюбляется в красивого странника, а когда тот начинает готовиться к отъезду, не сопротивляется этому открыто, а приглашает его со всеми его спутниками на обед («Пожалуй, хлеба кушать, / Душа моя, мой свет»). И тут же с помощью волшебного напитка («будто мед / да только с ядом») она обращает их в волков и львов, а Улисса — в рака («мудрый мой Улисс — рак будто на мели»). Конечное двестишье отведено несколько внезапной и резкой, но эффектной морали стихотворения, названного уже «басней»:

Сей басни разум тот:
Пошел в кабак мужик, оттуда лезет скот.

Некоторые детали этого странного произведения можно объяснить фактами биографии его автора. Начнем с решения использовать греческий вариант имени волшебницы. Хотя в России «Одиссея» не была так популярна, как «Илиада», и первый ее перевод (прозаический) увидел свет только в 1788 г.⁶ в латинизированной форме имя *Circe/Цирцеи* было известно. Упоминаемое в таких классических произведениях как «Энеида»

⁵ Гайденов Н. М., Степанов В. П. Примечания [Я. Б. Княжнин] // Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века / Сост. А. Соколов. Л., 1969 (Б-ка поэта, большая серия). С. 630; *Radezky I. C. M. N. Murav'ev. Columbia University. Ph. D., 1980. P. 87.*

⁶ Одиссея героическое творение Омара. Переведена с эллиногреческого языка. М., 1788. Ч. 1, 2.

Вергилия (VII, 10–24), «Метаморфозы» Овидия (XIV, 249–307), вторая «Эпистола» первой книги Горация (23–26), оно стало и в русской культуре нарицательным для коварных женщин. Например, в третьей песни «Россияды» (1779; 1786) Казанская царица Сумбека уподобляется «Киприде красотой, а хитростью Цирцее».⁷ Вместе с тем во второй половине 1770-х гг. Муравьев начал заниматься греческим языком, в надежде «сделать приобретение в стихотворстве».⁸ В письме от 12 декабря 1776 г. из Москвы, где он был принят в члены Вольного Российского Собрания, он сообщает отцу, что «в университетской библиотеке <...> взял Гомерову греческую с латинским переводом *Иллиаду*, Гезиода и Феокрита».⁹ А. Н. Егунов, установивший первенство Муравьева в переводе (начальных строк) «Илиады» гекзаметром (1778), справедливо отмечает, что «об „Одиссее“ у него нет упоминаний»,¹⁰ и можно полагать, что он ее не читал. Однако у Гезиода в 1011 (из 1022) строке поэмы о происхождении богов «Теогония» он мог заметить и запомнить слова: «Κίρκη δ', Ἡελίου θυγάτηρ» («Кирка же, дочь Солнца»),¹¹ вводящие перечень ее детей от Одиссея.

Таким образом, игра с греческим именем Цирцеи не свидетельствует о непосредственной связи муравьевской басни с гомеровским эпосом. По этой причине, а также в виду стилистических решений Муравьева при переводе «Илиады» нельзя согласиться с тем, что простонародный колорит «Улиссовых спутников» связан с прочтением поэтом поэм Гомера как плодов «плебейской» или примитивной поэзии.¹² По нашему мнению, муравьевская басня близка к бурлеску, что было свойственно басням «сумароковской школы».¹³ В своих юношеских притчах¹⁴ Муравьев нередко

⁷ *Херасков М. М.* Россияда. Поэма эпическая. 2-е изд., испр. пересмотр. и доп. М., 1786. С. 38.

⁸ РНБ. Ф. 499. № 48. Л. 45 об.

⁹ ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 49. Л. 16.

¹⁰ *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. М.; Л., 1964. С. 116.

¹¹ *Hesiod. Theogony // The Homeric Hymns and Homeric Hymns with an English Translation* by Hugh G. Evelyn-White. Cambridge, MA., 1914. P. 152. В Библиотеке МГУ в настоящее время находится, например, издание: *Hesiodi Ascracaei quaeumque exstant, graece et latine ex recensione Joannis Clerici, cum ejusdem animadversionibus. Accessere notae Sophi Scalligeri, Danielis Heinsii, Francisci Guetti et Stephani Clerici...* Amstelodami.: G. Gallet, 1701.

¹² Ср.: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. С. 32.

¹³ *Виндт Л.* Басня сумароковской школы // *Поэтика*. Сб. статей. Л., 1926. С. 82. Поэтому малоубедительной представляется попытка притягивать ранние муравьевские басни к роду легкой поэзии (*Пащуков А. Н.* Басни М. Н. Муравьева: у истоков творческой лаборатории писателя // *Муравьев и его время*. Казань, 2008. С. 52–53).

¹⁴ Первоначальное название произведений ср.: *Русская басня XVIII–XIX века: Собр. сочинений*. С. 423.

использовал прием ирои-комического возвышения («Кучер и лошади», «Кошка и лисица», «Облако», «Волк и лисица») и можно предположить, что в новой книге он предполагал испробовать иной вариант комизма, когда деяния высоких героев излагаются низким слогом. Думается, неслучайно этот тип комизма описан во второй «Эпистоле» Сумарокова в ближайшем соседстве с басней;¹⁵ стоит напомнить также, что именно в таком роде комизма прославился «учитель» Муравьева В. И. Майков. Остается объяснить выбор не только «простонародного», но и специфически сказочного стиля басни Муравьева. Но сначала рассмотрим ее связь с басней Лафонтена.

Исследователь, наиболее детально сопоставивший Муравьевскую басню с произведением знаменитого французского поэта, отметил ряд существенных расхождений между ними, но умолчал о самых главных и не вполне раскрыл замысла русского автора. Вместе с тем автор недавней работы о Муравьевских переводах из Лафонтена с определенным основанием не включает «Улиссовых спутников» даже в число басен, «связанных с одноименными баснями французского поэта на уровне сюжета».¹⁶

Следует иметь в виду, что наряду с эпической (и эротической) трактовкой эпизода Цирцеи,¹⁷ существовала определенная ветвь философско-нравоучительного его истолкования, восходящая к разговору Плутарха «Περὶ τοῦ τα ἄλογα λόγῳ χρῆσθαι» («Грилл, или О том, что животные обладают разумом»)¹⁸ Здесь, по желанию Одиссея, Кирка соглашается вернуть грекам человеческий облик при условии, что они сами захотят этого; однако один из них, чье новое имя напоминает хрюканье свиньи, отказывается и пространно защищает нравственное преимущество животных перед людьми. В эпоху Ренессанса флорентийский гуманист Джамбаттиста Джелли (1498–1563) создал серию прозаических диалогов, назвав ее «Цирцея» («La Circe», 1549).¹⁹ Это десять разговоров между Улиссом,

¹⁵ Сумароков А. П. Избр. произведения / Вступ. ст., подгот. текстов и примеч. П. Н. Беркова. Л., 1957. С. 122–123 (Б-ка поэта, большая серия).

¹⁶ Лазарчук Р. М. Неизвестные тексты М. Н. Муравьева (переводы басен Лафонтена) // XVIII век. СПб., 2006. Сб. 24. С. 313.

¹⁷ Литература о мифе Цирцеи обширна; см. напр.: Yarnall J. The Transformations of Circe. The History of an Enchantress. Urbana-Chicago, 1994; Bettini M. Franco Cristiana. Il mito di Circe. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi. Torino, 2010.

¹⁸ Plutarch. Moralia / With an English translation by Harold Cherniss. Cambridge, Massachusetts, London, 1957. Vol. XII. P. 492–533; Поздняя греческая проза. М., 1961. С. 133–144.

¹⁹ Gelli G. B. La Circe // Opere / A c. di Amelia Corona Alesina. Napoli 1970. P. 247–408; Джелли, Джамбаттиста. Цирцея / Изд. подгот. Н. В. Ревякина. Иваново, 2005.

Цирцеей и разными животными, сам вид которых связан с бывшим положением превращенных людей. Все звери довольны своим звериным существованием, и только один, слон, в прошлом философ, соглашается снова стать человеком. В течение первых десяти лет после своего появления «Цирцея» была переведена на английский, французский и испанский языки, а затем выдержала несколько переизданий;²⁰ ей подражали. Например, в «Ежемесячных сочинениях к пользе и увеселению служащих» за 1764 г. опубликована рецензия на книгу «Dialogues des Animaux, ou le Bonheur. Nouvelle Edition. Berlin, 1763» (Разговоры животных, или Счастье. Новое издание), написанную в подражание произведению итальянского писателя.²¹ К модели «Цирцеи» восходит и басня «Спутники Улисса» («Les compagnons d'Ulysse») Лафонтена; хотя в ней фигурируют только лев, медведь и волк, упоминание в ее начале крота и слона указывает на итальянский источник.

«Спутники Улисса» Лафонтена были впервые опубликованы в 1690 г. в журнале «Галантный Меркурий», а в 1694 г. открыли двенадцатый том последнего прижизненного собрания его басен. Басня посвящена герцогу Бургундскому, сыну дофина, кому за тридцать лет до этого Лафонтеном был посвящен первый том басен.²² Первые двадцать шесть и последние восемь — из 114 — строк обращены к нему в тоне легкой и изящной лести. В повествовательной части спутники Улисса, превращенные Цирцеей в таких зверей, как медведи, львы и волки, отказываются стать снова людьми, хотя плененная царем волшебница соглашается их отпустить. Звери оправдывают свой отказ, кто, утверждая, что положение льва, царя зверей, важнее роли простого солдата, кто, остроумно доказывая, что люди не менее хищны, чем волки. В конце басни автор заключает, что, предпочитая низменные страсти высоким делам, они думали быть свободными, на самом же деле каждый стал сам себе рабом.

В своей басне Муравьев значительно удаляется от Лафонтена, а тем самым и от Гомера. Во-первых, он пропускает посвящение и русифицирует мораль и персонажей басни.²³ Цирцея, которая у Гомера и в философско-

²⁰ См. *Hatzantonis E.* I geniali rimaneggiamenti dell'episodio omerico di Circe in Apollonio Rodio e Plutarco // *Revue belge de Philologie et d'Histoire.* 1976. Т. 54. Fasc. 1. P. 5–24.

²¹ Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1764. Февр. С. 187–189. Отметим, что здесь волшебница именуется «Цирса».

²² *La Fontaine J.* Œuvres complètes. I. Fables, contes et nouvelles / Éd. par Jean-Pierre Collinet. Paris, Gallimard, 1991. P. 451–454; 1274–1276; *Лафонтен Ж.* Басни / Ред. В. П. Бутромеев; пер. А. Введенский. М., 2005. С. 565–568.

²³ *Radezky I. C. M. N. Murav'ev.* С. 87–89.

нравоучительной традиции его прочтения наделялась какой-то тихой и горькой мудростью, здесь напоминает «блудницу» Горация,²⁴ но более даже, — злых женщин из русских народных сказок.²⁵ Во-вторых, Муравьев перестраивает последовательность действия в эпизоде, заставляя волшебницу обратить спутников не в начале, а в конце пребывания Улисса на ее острове, и — главное, прерывает рассказ в момент бегства зверей в лес, совсем не ставя вопроса об их возвращении в человеческий облик, и даже намекая, что сам герой пал жертвой яда волшебницы. Точек соприкосновения между «Улиссовыми спутниками» Муравьева и Лафонтена немного: упоминание прибытия греков к дочери Солнца, определение волшебного напитка как «poison»/«яд», сама последовательность обращения людей в животных в лишении сначала разума, а затем уже человеческого облика.

Тем не менее повторение лафонтеновского заглавия басни кажется оправданным по другой причине. Муравьевская басня ближе, чем к Лафонтену, стоит к стихотворению Я. Б. Княжнина «Улисс и его спутники. Сказка»,²⁶ переводу-подражанию басне Лафонтена. В 132 (134)²⁷ вольных ямбах с мужской и женской рифмовкой, чаще парной, а также перекрестной и охватывающей, русский автор переводит и несколько амплифицирует повествовательную часть французского сочинения. Он усиливает роль рассказчика и расширяет любовную интригу между Улиссом и Цирцеей, но точно воспроизводит логику ответов льва, медведя и волка. От себя он вводит осла — бывшего «барина» — который всегда презирал «свет учения» и поэтому, ставши «скотиной, не ощутил премены никакой». У него Улисс остается греком, а Цирцея «богиней» (но и «колдуньей»), при этом рассказчик не скупится на русские фразеологизмы, такие, например, как «не промах был», «с носом», «ореха не разгрыз».

²⁴ Cp.: Sirenum uoces et Circae pocula nosti; / quae si cum sociis stultus cupidusque bisset, / sub domina meretrice fuisset turpis et excors, / uixisset canis inmundus uel amica luto sus (*Horace. Liber Primus. II // Epistles, book I / Ed. by Roland Mayer. Cambridge, 1994. P. 59*); «Песнь Сиренов знаешь ты, и Цирцеи чашу: / Естьлиб он с спутники безмыслен и жаден / Испил ту, остался бы во власти блудницы / Глуп и гнусен; прожил бы или псом нечистым, / Иль благолюбивою в стыд себе свиньною» (*Кантемир А. Д. Квинта Горация Флакка десять писем первой книги переведены с латинских стихов на русские... СПб., 1788. С. 58*).

²⁵ *Radezky I. C. M. N. Murav'ev. С. 88.*

²⁶ *Княжнин Я. Б. Избр. произведения / Вступ. ст., подгот. текстов и примеч. Л. И. Кулаковой. Л., 1961. С. 688–691, 752–753.*

²⁷ В первом издании стихотворение оканчивалось «моралью», опущенной или забытой во втором (Там же. С. 752; *Гайденков Н. М. Степанов В. П. Примечания [Я. Б. Княжнин]. С. 630–631*).

Если читать произведение Муравьева после сказки Княжнина, то создается впечатление, что в нем доведены до крайности приемы старшего поэта: перед нами не просто «сказка» в смысле жанрового определения произведения, в которой действуют люди (в отличие от басни, где выведены животные),²⁸ а народная сказка «постаре, как „Бова“»; Цирцея не просто, как богиня, «нетерпелива и менее людей стыдлива», а «баба зла и злей, чем сатана»; Улисс не вообще «молод и прекрасен, / щеголеват, умен и мил лицом», а «всем на всё прямо пан». В результате последовательного переосмысления этого сюжета в русском народном духе вместо остроумных реплик, подчеркивающих относительность человеческих вкусов и ценностей, мы находим резкое осуждение пьянства.

Предложенной здесь соотнесенности двух произведений противоречит хронология: как мы видели, стихотворение Муравьева восходит к концу 1770-х гг., а сказка Княжнина впервые была опубликована в 1783 г. в журнале «Собеседник любителей российского слова»,²⁹ и за отсутствием автографа предположительно датируется этим годом. Однако не следует забывать, с одной стороны, что в данный журнал помещались и уже опубликованные, и далеко не новые тексты, с другой, — личные отношения двух писателей. К дневнику и частной переписке Муравьева обычно прибегают для уточнения деталей биографии Княжнина,³⁰ но они же служат свидетельством и о влиянии старшего писателя на творчество младшего. Оба поэта печатались в одних и тех же журналах и посещали одни и те же знатные дома и театры. В 1777–1779 гг. Муравьев не только следил за театральными успехами Княжнина, но и бывал у него в доме,³¹ беседовал с ним в театре.³² К нему обращен ряд стихотворений Муравьева, заканчивающийся «Стихами на кончину Якова Борисовича Княжнина».³³

Нельзя исключить, что Муравьев читал или слушал русское переложение Княжнина французской басни еще в конце 1770-х гг. и — шутивно ли?

²⁸ *Княжнин Я. Б.* Избр. произведения. С. 722.

²⁹ Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения. 1783. Ч. X. С. 158–163. Затем она вошла в четвертый том прижизненного «Собрания сочинений Якова Княжнина» (1787) в раздел «Мелких сочинений в стихах и в прозе» (С. 167–172).

³⁰ *Западов В. А.* Княжнин Я. Б. // *Словарь русских писателей XVIII века.* СПб., 1999. Вып. 2. К–П. С. 70–81.

³¹ *Фоменко И. Ю.* Из прозаического наследия М. Н. Муравьева // *Русская литература.* № 3. 1981. С. 123.

³² Дневник от 5 июля 1779 г. РНБ. Ф. 499. № 30. Л. 89 об.

³³ *Муравьев М. Н.* Стихотворения. С. 183, 234; *Алехина Л. И.* Архивные материалы М. Н. Муравьева в фондах Отдела рукописей // *Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.* М., 1990. Вып. 49. С. 83–87.

полемически ли? — решил создать и свою версию сюжета. Или, наоборот, его шутка с сюжетом лафонтеновской басни заставила Княжнина перевести ее более точно. Возможно, однако, что два автора самостоятельно и по-разному обратились к одному и тому источнику. Однако почему Муравьев так решительно отказался от философско-нравоучительной трактовки эпизода с Цирцеей? К этому могла приводить логика литературной игры. Но нельзя также не учитывать, что мораль философско-нравоучительной трактовки несколько двусмысленна: трудно не согласиться с некоторыми выводами животных. В свое время Джелли заставил хоть одного из них захотеть стать опять человеком и прославить не только достоинства человечества, но и величие Создателя. Но Лафонтен на это уже не решился и в конце басни должен был признать, что его рассказ не похож на поучительную басню. Княжнин остался верен его скептическому взгляду на людей.

Как показала Н. Д. Кочеткова, «для русского сентиментализма характерно сохранение дидактики», связанной «с задачами Просвещения».³⁴ Для Муравьева важно было не столько критиковать общество с точки зрения животных, сколько предупредить людей об опасности сделаться скотами.

³⁴ Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма. СПб., 1994. С. 28.

Е. Д. Кукушкина, А. О. Демин

«ОСВОБОЖДЕННАЯ ВЕТИЛУЯ» П. МЕТАСТАЗИО В ПЕРЕВОДЕ Ф. В. ГЕНША

В Санкт-Петербургской Государственной Театральной библиотеке хранится рукопись, до сих пор не привлекавшая внимание исследователей. На ее титульном листе значится: «Освобожденная Ветилуя. Из сочинений господина аббата Метастазия. Драма в одном действии. Переведена с италианского Федором Геншем». Это цензурный экземпляр с резолюцией Х. А. Чеботарева, исполнявшего обязанности театрального цензора: «Сию пиэсу представлять можно» и датой: 24 февраля 1784 года.¹

Ф. В. Генш (1764–1796) родился в семье немцев, занимавшихся в России педагогической деятельностью. Его мать содержала пансион для малолетних девиц,² а отец Вениамин Генш — пансион и училище для «благородного юношества».³ Выпускник университетской гимназии, а с 1782 г. студент Московского университета, Федор Генш активно сотрудничал с антрепренером Петровского театра М. Меддоксом, труппа которого была составлена в основном из талантливых питомцев Воспитательного дома. Меддокс стремился к тому, чтобы репертуар театра отвечал вкусу самых разных зрителей. Он ставил русские комические оперы, спектакли на французском языке (в 1783–1785 гг. в театре играла французская труппа), а также драматические произведения на музыку французских композиторов в русском переводе. В переводе Генша с большим успехом шли комические оперы на музыку А. Э. М. Гретри. Первой, возможно, стала одноактная опера

¹ СПбГТБ. Шифр I.18.2.4. Л. 1–16 об. Далее указания на листы рукописи — в тексте.

² Санкт-Петербургские ведомости. 1773, № 87, 29 окт., вт.

³ Московские ведомости. 1777. Приложение. дек.

«Говорящая картина»⁴ на либретто Л. Ансома, поставленная в Вокзале 4 июня 1780, затем комическая опера в двух действиях «Двое скупых» на текст Ш.-Ж. Фенуйо де Фальбера. Премьера ее состоялась 22 февраля 1783 года с участием известных артистов А. Г. Ожогина и А. А. Померанцевой. В том же году в Вокзале была представлена «вольно» переведенная Геншем «с французского» одноактная комическая опера Н.-М. Одино и Ф.-А. Кетана «Бочар».⁵ Интересом к музыкальному театру, а также популярностью Метастазіо в России, по-видимому, и объясняется обращение Генша к творчеству итальянского драматурга.

П. Метастазіо (1698–1782) сочинял свои лирические трагедии для оперного театра и не мыслил их без музыки. В России многие его оперы исполнялись как на итальянском, так и на русском языке. Они были значительным явлением культурной и литературной жизни. «Титово милосердие» и «Фемистокл» были переведены Г. Р. Державиным. Переложив по своему трагедию П.-Л. Бюирета де Беллуа «Тит» и оперу Метастазіо, известную на русской сцене с 1750-х годов в русском переводе (возможно, Ф. Г. Волкова), Я. Б. Княжнин создал первую русскую музыкальную трагедию «Титово милосердие».

Итальянский поэт и либреттист стал любимцем русской придворной знати еще при императрице Елизавете Петровне. 25 ноября 1760 года, в день празднования восшествия ее на российский престол, в придворном театре исполнили в сокращении оперу-серия Метастазіо «Кир» с музыкой Г. Ф. Раупаха и ставили ее до конца года еще четыре раза. Изобилующая трогательными сценами опера «Покинутая Дидона» была представлена на императорском театре под названием «Оставленная Дидона» на музыку Б. Галуппи по повелению Екатерины II в феврале-марте 1766 года. Лирическая трагедия «Олимпиада», сочетавшая традиции греческой трагедии и итальянской пасторальной драмы, ставилась в Санкт-Петербурге с музыкой Томмазо Траэтта в 1769 году ко дню 40-летия Екатерины II, а к восьмилетию со дня ее коронации, 22 сентября 1770 года, Придворный театр представил в сокращенном варианте оперу «Антигон», также с музыкой Томмазо Траэтта. Опера «Ахилл на Скиросе» была представлена под названием «Ахилл во Сцире» с музыкой Дж. Г. Паизиелло в 1778 году в связи с рождением великого князя Александра Павловича. Все спектакли были оформлены богатыми декорациями и сопровождалась балетами. Но были и попытки приспособить сочинения Метастазіо к более скромным теат-

⁴ История русской музыки в десяти томах. М., 1984. Т. 2. XVIII век. Ч. 1. С. 144.

⁵ Кукушкина Е. Д. Генш Федор Вениаминович // Словарь писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1. А–И. С. 195–196.

ральным возможностям, заинтересовать зрителей не пышностью зрелища, а занимательностью сюжета. В 1769 году в типографии при Императорской Академии наук была напечатана одноактная комедия «Остров необитаемый», переведенная «вольно с французскаго, следуя и опере г. Метастазия, и комедии г. Коллета».⁶ Второе издание вышло в Компании типографической Н. И. Новикова в 1788 г. По данным В. П. Семенникова, перевод принадлежит В. И. Лукину.⁷

Духовная оратория (*azione sacra*) «Освобожденная Ветилуя» (*Betulia Liberata*) была написана П. Метастазиио, служившим в должности придворного поэта в Вене, в конце февраля — начале апреля 1734 г. по указу императора Карла VI (1685–1740), и впервые представлена в венской Придворной капелле во время Великого поста.⁸ Музыка была заказана придворному композитору Георгу Рейтеру-младшему (*Reutter*, 1708–1772) и стала его первым опытом в этом жанре со времени приема на службу при императорском дворе в 1731 г.⁹

Сюжет, взятый из библейской книги Иудифи,¹⁰ ассоциировался со сложившейся исторической ситуацией. С 28 октября 1733 г. на австрийских землях в Италии в ходе войны за польское наследство вели захватнические военные действия войска короля Сардинии и герцога савойского Карла Эммануила III (1701–1773), а в феврале начались ответные военные действия австрийской армии.¹¹ В связи с захватом австрийского Милана савой-

⁶ Колле Шарль (1709–1783), французский драматург и сочинитель песен.

⁷ Семенников В. П. Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической компании. Пг., 1921. С. 795. История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь — XVIII век. СПб., 1996. Т. 2. Драматургия. Поэзия. С. 66–67

⁸ Первое издание: *La Betulia liberata. Azione sacra per musica, cantata nell' augustissima cappella della sacra Cesarea, e Cattolica real Maestà di Carlo VI. Imperadore de' Romani sempre Augusto. L'anno M. DCC. XXXIV <1734>. La poesia è del sig<nor> abbate Pietro Metastasio, poeta di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica. La musica è del sig<nor> Giorgio Reutter il giovine, compositore di Camera di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica. Vienna appresso Gio<vanni> Pietro van Ghelen, stampatore di corte di Sua Maestà Cesarea e Cattolica.* Далее приводится по изданию: *Metastasio P. Tutte le opere / a cura di B. Brunelli. 2 ed. Milano, 1965. Vol. 2. Opere varie. P. 628–653.*

⁹ Издание партитуры и справку см.: *Reutter G. von. Betulia liberata / introduction by Joyce L. Johnson. New-York, 1986.*

¹⁰ О значении образа и сюжета Юдифи в истории и культуре см., например, одно из последних междисциплинарных коллективных исследований: *The Sword of Judith. Judith Studies across the Disciplines / Ed. by Kevin R. Brine, E. Ciletti and H. Lähnemann. Cambridge, 2010.*

¹¹ *Sala di Felice E. Betulia come casa d' Austria // Mozart, Padova e la Betulia liberata. Commitenza, interpretazione e fortuna delle Azioni sacre metastasiane nel '700. Atti del Convegno Internazionale (28–30 settembre 1989) / A cura di Paolo Pinamonti. Firenze, 1991. P. 43–47 (Quaderni della rivista italiana di musicologia, 24).*

скими войсками 3–11 ноября 1733 г. трудно было не вспомнить турецкую осаду Вены в 1683 г.¹² Оратория Метастазіо сохраняла свою привлекательность для влиятельных слушателей, заказывавших композиторам в разные годы и в разных городах и странах музыкальные произведения с этим текстом вплоть до начала второго десятилетия XIX в.¹³ Причем ее исполнение привязывали к критическим событиям истории. Так, ее показали при дрезденском дворе (на музыку И.-Г. Науманна) в 1805 году, когда Саксонии угрожали наполеоновские войска.

В России оратория «Освобожденная Ветилуя» была исполнена впервые 26 марта 1783 г. в московском Петровском театре в костюмах и в декорациях и еще дважды звучала в этом сезоне, по-видимому, на итальянском языке.¹⁴ Музыку к ней написал композитор Матиас Франц Ксаверий Стабингер (Stabinger, по уточненным данным 1739–1815 или, по другим данным, после 1819). В 1782–1799 годы он с перерывом в 1784–1786 гг. жил и работал в Москве, где большой успех имели его комические оперы «Счастливая тоня» и «Баба Яга» (1786) и, возможно, «Калиф на час» (1784) на либретто Д. П. Горчакова.¹⁵ Известно, что 8 марта 1786 г. в том же Петровском театре с участием русских певиц Н. В. Соколовской и Виноградовой исполнялась новая оратория Стабингера. По предположению Н. Ф. Финдейзена, это была «Юдифь», о продаже партитуры которой Стабингер объявил через два года.¹⁶ На этом основании (по признаку общности сюжета)

¹² См.: *Horst W. Mozart und andere La Betulia liberata-Vertonunge n im Vergleich // Beitrage zur Geschichte des Oratoriums seit Händel. Festschrift Günther Massenkeil zum 60. Geburtstag. Bonn, 1986. S. 151.*

¹³ См.: *Mozart, Padova e la Betulia liberata. Commitenza, interpretazione e fortuna delle Azioni sacre metastasiane nel '700. Atti del Convegno Internazionale (28–30 settembre 1989) / A cura di Paolo Pinamonti. Firenze, 1991 (Quaderni della rivista italiana di musicologia, 24); Metastasio P. Tutte le opere / A cura di B. Brunelli. 2 ed. Milano, 1965. Vol. 2. Opere varie. P. 1324. Особое внимание исследователей и слушателей привлекает, естественно, «Освобожденная Ветилуя» В. А. Моцарта, написанная юным гением под руководством отца в 1771 г. в Падуе по заказу арагонского князя Хосе Хименеса (1717–1784).*

¹⁴ См.: *История русской музыки в десяти томах. М., 1985. Т. 3. XVIII век. Часть вторая. С. 266.*

¹⁵ О нем см.: *Гозенгуд А. А. Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Л., 1959. С. 161–164; Римский Л. Б. Стабингер М. // Музыкальная энциклопедия. М., 1981. Т. 5. Симон-Хейлер. С. 250; Ломтев Д. Г. Немецкий музыкальный театр в России. М., 2003. С. 63–67; Ломтев D. Deutsches Musiktheater in Russland. Lage-Hörste, 2003. S. 69–73.*

¹⁶ *Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.; Л., 1929. Т. 2. С. 220; История русской музыки в десяти томах. М., 1985. Т. 3. XVIII век. Часть вторая. С. 267, 406.*

ее можно предположительно отождествить с «Освобожденной Ветилуей». Позднее, 16 марта 1796 г., там же исполнялась «Освобожденная Ветилуя» с музыкой Дж. Б. Ансельми.¹⁷

Стихотворная форма «священного действия» Метастазियो, строится, как в оперном либретто, на противопоставлении неравносложного стиха (семисложники и десятисложники) со спорадической рифмой в речитативах и равносложного стиха различных метров и регулярной рифмовки в ариях. Оратория Метастазियो состоит из двух частей без дополнительного внутреннего деления на сцены. Сюжет библейской книги излагается в оратории в драматической форме через обмен репликами шести персонажей:

Озия, князь Ветилуи

Юдифь, вдова Манассии

Амиталь, знатная израильтянка

Ахиор, князь аммонитян

Хаврий (Sabri)

Главы народа

Хармий (Carmi)

Хор жителей Ветилуи.

Озия укоряет в унынии жителей осажденной Ветилуи. Хаврий и Амиталь, живописуя безнадежное положение города, утверждают, что отчаяние их обосновано и, несмотря на доводы Озии в пользу стойкости, добиваются его обещания сдать город через пять дней, если Бог не скалится над ними. Является Юдифь, оставившая свое вдовье уединение, чтобы прийти на помощь согражданам. Она ободряет присутствующих и удаляется, сообщив, что задумала великое деяние в помощь городу. Хармий приводит Ахиора, брошенного у стен Ветилуи связанным по приказанию его бывшего союзника Олоферна. Ахиор вызвал гнев военачальника, заявив, что израильтяне непобедимы, если верны своему Богу. Озия заверяет Ахиора в своей поддержке и дружбе. Возвращается Юдифь в праздничном убранстве и говорит, что собирается одинокой и безоружной идти в лагерь Олоферна. Народ провожает ее с изумлением и почтительностью.

Вторая часть оратории начинается большой сценой, где Озия пытается убедить Ахиора отказаться от поклонения языческим богам и уверовать в единого Бога иудеев. Ахиор прислушивается к разумным доводам Озии, но не чувствует в себе желания изменить веру. Явившаяся Амиталь тревожится о горестном оцепенении города и выражает неверие в успех предприятия Юдифи. Внезапный шум и крики народа предвещают возвращение

¹⁷ История русской музыки в десяти томах. М., 1985. Т. 3. XVIII век. Часть вторая. С. 414.

Юдифи. Она возвещает, что убила Олоферна, и подробно повествует о своем подвиге, показывая присутствующим отсеченную голову ассирийского полководца. Потрясенный увиденным, Ахиор лишается чувств, а очнувшись, объявляет, что уверовал в Бога иудеев. Амиталь признается, что ранее тоже сомневалась в могуществе Бога. Хармий приносит весть о смятении в ассирийском лагере. Озия приказывает воинам завершить разгром врагов. Народ и Юдифь прославляют чудесное избавление Ветилуи и возносят хвалы Господу.

Перевод «Освобожденной Ветилуи» Генша уместнее было бы назвать свободной переработкой, настолько многочисленны и существенны изменения при передаче оригинала. Речитативные фрагменты переведены прозой, ариозные — стихами без сохранения оригинального метра. Текст пьесы разделен на две части и на девять явлений, которые отмечают каждое изменение состава персонажей на сцене. Эта особенность сближает переводной текст с жанрами драмы или оперного либретто. Состав действующих лиц отличается от оригинального. Сокращено число персонажей и добавлен хор Олоферновых воинов:

Юдифь, вдова Манассиева
Озия, князь Ветилуйский
Олоферн, князь ассирийский
Амитал, вельможа израильский
Ахиор, князь Аммонита
Хор ветилуйских жителей
Хор Олоферновых воинов

Перемены в составе действующих лиц связаны с внутренней перекомпоновкой сцен. Появление в пьесе Олоферна и хора его воинов вызвано введением в текст эпизода, где ассирийский полководец встречается с иудейской героиней и гибнет от ее руки (ч. 2, явл. 1). Соответственно, рассказ Юдифи об этом событии существенно сокращен. Роли Хаврия и Хармия устранены, текст их реплик и арий частично передан Амиталу, который из знатной израильтянки превратился в израильского вельможу. Наряду с введением новой сцены, в переводе целиком исключены два пространных отрывка: 65 строк замечательно яркого в своей драматической живописности рассказа Юдифи об убиении Олоферна во второй части и еще 62 строки (*E non il solo... ~ ...Premio a Giuditta*). В переводе Генша Иудифь, убеждая Ахиора, не поверившего ее рассказу, восклицает: «Верить ли ты сей голове, моей рукой отрубленной? (Показывает голову Олоферна)». Ахиор вынужден признать: «О чудо! Сия голова Олофернова, я его узнал» (л. 15 об.) В либретто Метастазіо эта сцена психологически более убедительна: увидев отсеченную голову, Ахиор теряет сознание. Общая тенденция

переработки свидетельствует о стремлении переводчика снять по возможности статические повествовательные элементы, усилить действенность и тем самым несколько изменить жанровую принадлежность переведенного текста, приблизив его к драме.¹⁸

Особенно отчетливо это проявляется в сцене, изображающей лагерь Олоферна. Она разработана с большой тщательностью. Подробно описано место действия: «Лагерь Олоферна освещенный. С одной стороны видно стены города Ветилуи, а с другой стороны великолепные шатры и стол хорошо убранный, где Олоферн окружаем своими министрами на богатой софе сидит и пьет, потом Юдифь со своею служанкою между стражами» (л. 9 об.). В кульминационный момент развития действия замедляется, это усиливает драматической напряжением. Юдифь приближается к столу, чтобы взять меч, но останавливается: «Но, увы, ноги мои дрожат, рука, приготавливающаяся к великому предприятию, ослабевает. Ах! Но полно...» (л. 11 об.).

Лирическая часть оратории, — ариозные, ансамблевые и хоровые фрагменты, — также претерпела преобразование при переводе. Присочинен начальный хор: «Среди толикая напасти...» (л. 2). В финале первой части, когда Юдифь сообщает о своем намерении идти в лагерь Олоферна, ее ария и заключительный хоровой речитатив превратились в развернутый дуэт Юдифи и Озии с хором. Во второй части из арии Амиталь «*Quei poschier che in gran procella...*» переведена только вторая часть: «Всегда в несчастья умолкает...» (л. 13 об.). Финальный хор оригинала с пространными сольными вступлениями Юдифи и заключительным общим ансамблем в 37 строк сократился до сжатого дуэта Озии и Юдифи из двух четверостиший, четверостишия в исполнении Амитала и Ахиора и одной заключительной строфы хора (16 строк).

Основными переводческими приемами при создании русского текста «Освобожденной Ветилуи» следует признать сокращение и пересказ, более или менее близкий к оригинальному тексту. Например, в передаче арии Юдифи из второй части «*Prigionier che fa ritorno...*» — «Сними теперь ты покрывало» смысл передан настолько общо, что единственным связующим звеном между текстами оригинала и перевода становится тема отношения человека к озаряющему его свету истины. В этой ситуации трудно судить, пользовался ли Генш оригиналом или прибег к помощи чужого подстрочника.

¹⁸ Аналогичным образом поступал, например, И. А. Дмитревский, переводя итальянские оперные либретто. См.: *Гардзонио С. И. А. Дмитревский — переводчик итальянских пьес // Основание национального театра и судьбы русской драматургии (К 250-летию создания театра в России)*. СПб., 2006. С. 85–86.

Русский текст, имеющий такие существенные расхождения с оригиналом, не мог исполняться с музыкой, написанной ранее для итальянского либретто, ее следовало написать заново, как это и значится на первом листе рукописного либретто: «Музыка вновь сочиненная господином Штабингером». Однако сведений об исполнении «Освобожденной Ветилуи» на русском языке нет.

Очевидно, однако, что Генш пытался адаптировать ораторию Метастазіо к возможностям Петровского театра и, переложив ее в произведение другого жанра, заинтересовать более широкой круг зрителей. Побудительным мотивом к созданию национальной драмы о победе над «неверными» могли стать важные политические события того времени. 28 декабря 1783 г. (8 января 1784 г. по новому стилю) было заключено соглашение между Россией и Турцией, по которому Порты признала потерю независимости Крыма и присоединение его к России.¹⁹ Тем самым снялось напряжение в обществе, связанное с приготовлением к назревавшей русско-турецкой войне.

«Освобожденная Ветилуя» стала одним из последних литературных сочинений Ф. Генша. Окончив университет и получив чин губернского секретаря, в августе 1787 г. он поступил на службу в Государственный ассигнационный банк, где дослужился до чина коллежского секретаря и должности камерира (бухгалтера) ассигнационной экспедиции. Последний плод его литературной деятельности — комедия в одном действии «Девка слугою» (М., 1787), переведенная с немецкого языка, на сцене не ставилась.

¹⁹ *Мадариага И. де.* Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2003. С. 618–621.

СТИХОТВОРЕНИЕ Державина О КНЯГИНЕ ДАШКОВОЙ: К ПРОБЛЕМЕ ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

В этой статье речь пойдет о загадочном стихотворении Г. Р. Державина «На смерть графини Румянцевой». В нем поэт дает двусмысленную оценку своей некогда бывшей издательницы и покровительницы кн. Е. Р. Дашковой. Стихотворение было написано в 1788 г., вскоре после кончины графини Марии Андреевны Румянцевой (4-ое мая 1788 г.), и впервые опубликовано в 1791 г. под названием «Ода на смерть графини Румянцевой к Н***».¹ Первоначальное заглавие указывает на то, что стихотворение обычный для Державина гибрид, смешение оды и элегии,² при этом его можно отнести и к жанру послания, поскольку оно адресовано Дашковой («к Н***»). В какой степени можно считать «На смерть графини Румянцевой» дружеским посланием³ — главный вопрос этой статьи. В прижизненных публикациях имя Дашковой не было указано; оно было раскрыто впоследствии в «Объяснениях Державина к своим сочинениям». Однако по разным деталям

¹ В «Объяснениях Державина к своим сочинениям» поэт говорит, что это стихотворение было «написано в Тамбове в 1787 году, напеч[атано] впервые в I-ой ч[асти] — не указано чего», 1798 года» (*Державин Г. Р. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: В 9 т. СПб., 1864–1883. Т. 3. С. 621*). Обе даты, видимо, ошибочны: свадьба сына Дашковой, П. М. Дашкова, с А. С. Алферовой состоялась 14-го января 1788 г.; гр. М. А. Румянцева умерла 4-го мая 1788 г.; война со Швецией, упомянутая в стихотворении (ст. 97), началась летом 1788 г. Стихотворение впервые было опубликовано в «Московском журнале» Н. М. Карамзина (1791. № 3).

² См. напр.: *Crone A. L. The Daring of Deržavin: The Moral and Aesthetic Independence of the Poet in Russia. Bloomington, IN: Slavica, 2001. P. 150.*

³ См.: *Taylor R. E. The Friendly Epistle in Russian Poetry: A History of the Genre. Ph. D. Dissertation, University of Southern California, 2002.*

в самом стихотворении не трудно угадать адресата.⁴ Девять из тринадцати строф стихотворения посвящены Дашковой или обращены к ней, и это включая те, в которых говорится о Румянцевой. Графиня Румянцева (род. 1698) была известной придворной дамой еще с петровских времен, служила фрейлиной, статс-дамой и обер-гофмейстериней. Она была матерью знаменитого полководца Петра Александровича Румянцева-Задунайского, героя Русско-Турецкой войны 1768–1774 гг., кумира Державина.⁵

Сходства между Державиным с Дашковой, видными деятелями Екатерининской эпохи, примечательны.⁶ Они ровесники (три с половиной месяца отделяют их даты рождения), и служебное восхождение их обоих самым тесным образом связано с судьбой Екатерины II. Столкновения их с нею, пожалуй, не менее известны, чем решающая роль императрицы в их возвышении. К другим сходствам относятся написанные ими в конце жизни мемуары, в которых обоими старательно подбираются оправдания своим поступкам. На основании их записок И. Ефимов показывал близость их политических взглядов. Разбирая близость понимания обоими добродетели, я предложил в своей книге отнести их представление о личности к классицистическому.⁷

Конечно, в отличие от Державина, вышедшего из бедных провинциальных дворян, Дашкова по рождению принадлежала к знати. В девятнадцать лет она была уже знаменитостью европейского масштаба, проявив деятельное участие в перевороте, возведшем Екатерину на трон. Тогда как у Державина начало жизненного пути было трудным, его продвижение по службе шло медленно; долгие годы, в том числе 11 лет военной службы, он пребывал в неизвестности. Их пути пересеклись лишь тогда, когда

⁴ «Объяснения» были впервые опубликованы в неисправном виде в 1834 г., а полностью в издании Я. К. Грота в 1866 г. Ссылки на Дашкову в стихотворении включают упоминания ее англофильства (английские ковры, ст. 14); кризис, связанный с женитьбой ее сына, ее председательство Российской Академии (ст. 84); и ее конфликт с Сенатом (ст. 89).

⁵ Державин прославлял Румянцева во многих стихотворениях, самое известное из них «Водопад» 1794 г.

⁶ См.: *Ефимов И.* Россией править нелегко (Мемуары Державина и Дашковой, к 250-летию со дня рождения обоих) // Гаврила Державин, 1743–1816 / Под ред. Ефима Эткинда и Светланы Ельницкой. Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре. Нортфилд; Вермонт, 1995. Т. 4. С. 330–340. Мне кажется, Ефимов недооценивает связь Дашковой с партией Н. И. Панина. См. также: *Алексеев В. Н.* Княгиня Е. Р. Дашкова и Г. Р. Державин: история взаимоотношений // Е. Р. Дашкова и А. С. Пушкин в истории России / Под ред. Л. Б. Тычинина. М., 2000. С. 13–18.

⁷ *Ефимов И.* Россией править нелегко; *Levitt M. C.* The Visual Dominant in Eighteenth-Century Russia. DeKalb, IL.: Northern Illinois University Press, 2012. Гл. 5.

Дашкова опубликовала без ведома автора «Фелицу» в первом выпуске своего журнала «Собеседник любителей русского слова». Эта публикация стала ключевым событием в жизни Державина и как поэта, и как государственного деятеля. Здесь не место подробно рассматривать этот известный эпизод, важно лишь подчеркнуть сыгранную Дашковой роль покровителя, редактора и товарища Державина, с одной стороны, а с другой, — немалые заботы, которые покровительство княгини доставило поэту. Дашкова опубликовала в «Собеседнике», а позднее и в академических «Новых ежемесячных сочинениях» лучшие стихотворения Державина («На смерть Князя Мещерского», «Решемыслу», «Бог» и многие другие).⁸ Державин говорит, что «Фелица» стала главным стимулом для привлечения к участию в журнале самой Екатерины II.⁹ «Фелица» не только принесла такую «шумную литературную славу» поэту, какой «Россия до сих пор не видывала», но и «дух Фелицы стал духом „Собеседника“», колебавшегося, как и державинская ода, между прославлением императрицы и легкой социальной сатирой.¹⁰ В то же время Державина могло беспокоить вмешательство Дашковой в его дела. Он взволновался, узнав о несанкционированном печатании «Фелицы» в «Собеседнике», хотя и под видом «перевода с арабского» некоего «татарского мурзы». Успокоение пришло через два дня, когда во время обеда с генерал-прокурором А. А. Вяземским прибыл курьер с золотой табакеркой, наполненной пятьюстами золотыми червонцами в знак высочайшей милости.

В своем восторге Державин поблагодарил и Дашкову,¹¹ однако его начальнику Вяземскому решительно не понравилось произошедшее. Восхож-

⁸ Как отметил Н. А. Добролюбов, «тут выбор стихотворений обличает светлый взгляд издателя» (*Добролюбов Н. А. «Собеседник любителей русского слова»: Издание княгини Дашковой и Екатерины II, 1783–1784 // Собрание сочинений: В 9 т. М., 1961. Т. 1. С. 250.*

⁹ Сочинения Державина. Т. 9. С. 235.

¹⁰ *Ходасевич В. Ф. Державин / Под ред. А. Л. Зорина. М., 1988. С. 106; см. также: Добролюбов Н. А. «Собеседник любителей...» и Кочеткова Н. Д. Дашкова о «Собеседнике любителей русского слова» // Екатерина Романовна Дашкова: Исследования и материалы / Под ред. А. И. Воронцова-Дашкова, М. М. Сафонова и др. Studiorum Slavico-gum monumenta. СПб., 1996. Т. 8. С. 140–146.*

¹¹ Сочинения Державина. Т. 5. С. 368–369. Державин писал помощнику Дашковой в Академии, О. П. Козодавлеву: «Особливо же благодарю я вас за распространенный слух, касательный до оды Фелицы, по которому дошла она до сведения покровительницы муз [Дашковой]... Я более всего благодарен вам за то, что вы познакомили меня с истинною любительницею русского слова, с наперсницею Фелицы, и своим предстательством подали мне способ узнать качества ея благородного и твердого сердца» (Там же. С. 369–370).

дение по служебной лестнице Державина после «Фелицы» было стремительным и привело его и к сенаторским, и к министерским назначениям.¹² Но «чрезмерное чувство справедливости в соединении с его горячим нравом»¹³ не раз приводило Державина к служебным конфликтам.

В периоды злключения Державина Дашкова всегда оказывала ему помощь. Она заботилась и о его подчиненных, терпящих от бюрократических неисправностей,¹⁴ а также служила посредником между ним и императрицей, в том числе и самим изданием его стихотворений. Вместе с тем Державин упрекал Дашкову, что после его фиаско в Тамбове на посту губернатора ему не давали нового назначения в течение двух лет. Как ни странно может показаться, он обвинял ее в чрезмерной к нему приверженности: «Княгиня Дашкова, по старому знакомству чрез первую оду „Фелица“, напечатанную в Собеседнике, так же автора, как и прежде, благосклонно принимала и говорила императрице много о нем хорошего, твердя беспрестанно с похвалою о вновь сочиненной им оде „Изображение Фелицы“,¹⁵ чем вперила ей мысли взять его к себе в статс-секретари или, лучше, для описания ея славного царствования. Сие княгиня Державину и многим своим знакомым, по склонности ея к велеречию и тщеславию, что она много может у императрицы, сама рассказывала. Таковое хвастовство не могло не дойти до двора и было, может, причиною, что Державин более двух годов еще после того не был принят в службу, а особливо на рекомендованный пост княгинею Дашковою...».¹⁶

Здесь говорится об эпохе после написания оды «На смерть графини Румянцевой», которая была сочинена во время его службы в Тамбове, и до его

¹² Levitsky A. Gavriil Romanovich Derzhavin // Dictionary of Literary Biography. Volume 150: Early Modern Russian Writers, Late Seventeenth and Eighteenth Centuries / Ed. M. C. Levitt. Detroit, Washington, D. C., London: Brucoli Clark Layman, Galke Research, 1995. P. 78.

¹³ Там же.

¹⁴ См.: Сочинения Державина. Т. 5. С. 495, 577–578 (о Д. Свистунове о П. М. Верзилине).

¹⁵ Дашкова опубликовала это стихотворение в «Новых ежемесячных сочинениях». Державин, который все искал себе нового места, хотел достучаться до императрицы через ее фаворита П. А. Зубова, а когда не мог, так «не осталось другого средства, как прибегнуть к своему таланту», т. е., написать это стихотворение в ее честь. (Державин Г. Р. Сочинения / Под ред. Г. Н. Ионина. СПб., 2002. Т. 1. С. 568. (Новая б-ка поэта)).

¹⁶ Сочинения Державина. Т. 6. С. 612. Разумеется, решение о назначении Державина все-таки осталось за Екатериной II. По словам Г. Н. Ионина, «императрица на аудиенции в августе обещала ему новую должность, но, отпустив поэта, прибавила, по свидетельству Храповицкого: „Пусть пишет стихи“». (Державин Г. Р. Сочинения. Т. 1. С. 568).

открытого спора через года два, в 1793 г., с Дашковой.¹⁷ Его неприятности в Тамбове явились очевидным поводом заключительных стихов оды:

Меня ж ничто вредить не может,
Я злобу твердостью сотру;
Врагов моих червь кости сгложет,
А я пиит — и не умру.¹⁸

Эти наиболее часто цитируемые строки стихотворения относятся — как уверяют комментаторы — к столкновению Державина с тамбовским генерал-губернатором И. В. Гудовичем.¹⁹ Однако в контексте критики Дашковой в предшествующих частях оды утверждение превосходства поэта над непоэтами выглядит несколько странным. Выступая на протяжении всего стихотворения как своего рода антипод Румянцевой, Дашкова в конце стихотворения приравнивается к «пииту». Как полагает А. Л. Крон, здесь наблюдается типичная структура державинских од, заключающаяся в противопоставлении положительного и отрицательного героев (здесь: Румянцева и Дашкова), которые в свою очередь проецируются на собственный образ поэта. Однако такое прочтение плохо согласуется с пониманием стихотворения (словами Крона) как «дружественного наставления» и «товарищеского совета» Дашковой. Ее образ в оде «гораздо менее резок», чем сатирические портреты придворных екатерининской эпохи в других державинских стихотворениях, в том числе и в «Фелице».²⁰ Как замечает Крон, на мой взгляд, он смягчает оценки, «невольные резкости этого *наставления* вряд ли могли показаться Дашковой приятными или смешными».²¹ К тому же, несмотря на то, что стихотворение адресовано Дашковой, Грот полагал, что «можно сделать вывод из *Объяснений* Державина, что стихи эти не скоро сделались известными княгине Дашковой».²²

¹⁷ См.: Сочинения Державина. Т. 6. С. 653–655. Предлог их спора — финансовые дела Академии. Наводит на размышления время ссоры, совпавшей с разочарованием Державина в Екатерине II. Дашкова была в определенном смысле в аналогичном с Державиным положении — и как некогда приближенный к ней деятель, и как более или менее резкий критик ее действий.

¹⁸ Здесь и дальше стихотворение цит. по: Сочинения Державина. Т. 1. С. 214–221.

¹⁹ Сочинения Державина. Т. 1. 122.

²⁰ Crone. The Daring of Deržavin. P. 151.

²¹ Там же. P. 152.

²² Сочинения Державина. Т. 1. С. 215. В «Объяснениях» поэт писал, что «ей [Дашковой] и неизвестно было, потому что она была в крайнем огорчении о женитьбе ее сына без ее позволения» (Там же. Т. 3. С. 621). Это заявление указывает на то, что стихотворение ходило в рукописи, так как опубликовано оно было только через три года.

По словам Державина, Дашкова «была в крайнем огорчении о женитьбе ее сына без ее позволения, в противоположность гр. Румянцевой, которая в свой долгий век много переносила горестей равнодушно».²³ Дашкова была огорчена, что сын вступил в «неравный» брак с бедной, незнатной дворянкой, которую она считала совершенно недостойной ее сына.²⁴ Как верно указывает Крон, смысл перифраза Горация (ода 9, кн. 2) в первой строфе раскрывается во второй не как ожидаемая тема смерти (смерти как неизбежного зла), а как тема чрезмерного огорчения княгини. Долгие годы она заботилась об успешности своего сына, и ее биограф А. Воронцов-Дашков, немного преувеличив, заявил, что Дашкова «посвятила свои „Записки“ обсуждению образования своего сына».²⁵ Разумеется, вряд ли ее могло утешить державинское противопоставление ее разочарования славе Румянцевой, матери героя, или его совет по возвращении сына с войны «иль на щите, иль со щитом» довольствоваться семейным счастьем.²⁶

Державин упрекает Дашкову в отсутствии материнского чувства и женской добродетели хранительницы очага; жажда власти, богатства и мстительность Державиным даются на первом плане ее портрета:

Когда не ищешь вышней власти
И первую в вельможах быть;
Когда не мстишь, и совесть права,
Не алчешь злата и сребра...

Подтекст этого места Державин разъяснил позднее в своих «Объяснениях»: «Княгиня Дашкова была честолюбивая женщина, добивалась первого места при государыне, даже желала заседать в Сенате».²⁷ Хотя С. Беннет справедливо отмечает, что в оде «На смерть графини Румянцевой»

Если бы оно стало ей известно, то вполне вероятно, это подлило бы масла в огонь их последующих ссор.

²³ Там же.

²⁴ См.: *Dashkova*. Mon histoire. С. 180–184. Она пишет, что сам Румянцев вступался за сына (брак совершался, когда ее сын был в действующей армии близ Киева), и что «весь Петербург, где все группировки наслаждались этой смешной женитьбой, уже знал [о ней]» («tout Pétersbourg savait déjà, où toutes les coteries s'occupaient de ce mariage ridicule») — Там же. С. 181.

²⁵ *Worzonoff-Dashkoff* A. E. R. *Dashkova and the Education of Women // A Window on Russia. Papers from the V International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia* Gargano, 1994 / Под ред. М. Di Salvo and L. Hughes. Roma: La Fenice, 1996. P. 307. При этом образованием дочери она почти не занималась.

²⁶ Заметим, что брак П. М. Дашкова оказался недолгим и неудачным.

²⁷ Сочинения Державина Т. 3. С. 621.

Державин «прямо не критикует Дашкову как должностное лицо»,²⁸ все-таки нетрудно здесь усмотреть критику (с оттенком женоненавистничества) ее стремления к власти. Это проступает более явно в двух коротких неопубликованных при жизни поэта стихотворениях. Одно из них — надпись, обращенная к Дашковой как к Аполлону (т. е. как к мужчине),²⁹ которую Воронцов-Дашков считает «самым жестоким и унижительным изображением Дашковой»,³⁰ другое — эпиграмма из шести слов, также, видимо, направленная против Дашковой под названием «К портрету Гермафродита»: «Се лик: / И баба и мужик».³¹ В этих словах Беннет видит «смесь обиды и насмешки», которая, по ее мнению, вызвана «видной ролью Дашковой [женщины! — М. Л.] в руководстве литературой».³²

Трудно отказать Дашковой в честолюбии, в чувстве нравственного превосходства, в заговорщицком складе ума — качествах, которые, несомненно, присутствуют и у Державина; у обоих они, можно считать, явились в результате взаимодействия разных факторов: тогдашней политики, культурных парадигм и собственной психологии. Хотя в образе Дашковой, созданном Державиным в оде «На смерть графини Румянцевой», различим конфликт между материнскими ее обязанностями и общественной службой, ее антипод Румянцева восхваляется за то, что «Монархам осьмерым служила, / Носила знаки их честей», и в отношении нее оказывается, что домашнее и общественное поприща не исключают друг друга. Вместе с тем следует отметить, что в более поздних стихотворениях Державина — например, в анакреонтике — отход от публичной в домашнюю сферу или сферу личных удовольствий может стать и мужской прерогативой.

Критика в адрес Дашковой в оде «На смерть графини Румянцевой» несколько смягчена тем, что в ее конце речь ведется от первого лица множе-

²⁸ Bennett S. S. «Parnassian Sisters» of Derzhavin's Acquaintance: Some Observations on Women's Writing in Eighteenth-Century Russia // A Window on Russia. Papers from the V International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia Gargano, 1994 / Под ред. М. Di Salvo and L. Hughes. Roma: La Fenice, 1996. С. 253.

²⁹ Сочинения Державина Т. 3. С. 350. Здесь ее заглавие дано как: «К портрету княгини Екатерины Романовны Дашковой, во время ее президентства в Академии наук».

³⁰ Worzonoff-Dashkoff A. Dashkova: A Life of Influence and Exile. Transactions of the American Philosophical Society. Philadelphia: American Philosophical Society. 2008. Т. 97. Ч. 3. С. XXV.

³¹ Сочинения Державина. Т. 3. С. 350. Воронцов-Дашков считает, что оба стихотворения относятся к портрету неизвестного художника, изобразившего Дашкову как президента Академии Российской (Worzonoff-Dashkoff A. Dashkova: A Life. С. X, 287, примеч. 11).

³² Bennett S. S. «Parnassian Sisters». P. 253.

ственного числа («нам», ст. 65), и ее вывод общий: все в свете тлен. В одиннадцатой строфе призыв к домашней жизни, как ни странно, превращается во что-то другое, вырастая из слова «сад»:

Утешься, и в объятья нежном
Облобызай своих ты чад;
В семействе тихом, безмятежном,
Фессальский насаждая сад,
Живи и распложай науки;
Живи и обессмерть себя,
Да громогласной лиры звуки
И музы воспоют тебя.

Здесь быстрый переход от материнских ласк и домашнего сада к метафорическому «Фессальскому саду», который сам Державин толкует как «российский Парнас, или академию»,³³ то есть Российскую Академию.³⁴ Как известно, Дашкова была основателем и первым президентом Российской Академии, где она организовала работу над знаменитым словарем, в которой участвовал и Державин. В этих стихах Дашкова призывается быть плодотворной не как мать, но как глава Академии, а стихотворение переходит от гораццианского к высокому, пиндарическому регистру. Дашкова должна увековечить себя, а также быть увековеченной музами (то есть поэтами, такими как Державин). Но если именно темой бессмертия это стихотворение оказывается связанным с жанром оды, по отношению к Дашковой оно не столь одически определено: она станет бессмертной чрез «громогласную лиру» лишь в том случае, если будет жить правильно.³⁵

Примечательно, что у Державина нет панегирических стихотворений, посвященных Дашковой, например, по случаю ее назначения президентом Российской Академии или директором Академии наук, таких панегириков, как писали другие современные поэты, в том числе Я. Б. Княжнин, Мария Сушкова, М. М. Херасков и И. Ф. Богданович. По словам Н. А. Добролюбова, «еще более, нежели к Державину, обращались пииты с хвалебными песнями к княгине Дашковой», называя ее «честью своего пола и красой муз», спутницей античных богов, и т. д.³⁶ В какой-то мере можно отнести

³³ Сочинения Державина. Т. 3. С. 621.

³⁴ Грот и следующие комментаторы отмечают, что Парнас находится не в Фессалии.

³⁵ Яркий пример этого типа «условной оды» — «Ода на рабство» Капниста (1783; опубл. 1806), сатирически направлена против Екатерины II. Кстати, по совету Державина, Княжнин удержался от публикации этой оды при жизни императрицы.

³⁶ Добролюбов Н. А. «Собеседник любителей русского слова». С. 253. Аманда Евингтон называет стихотворение Сушковой «Стансы на учреждение Российской

и оду «На смерть графини Румянцевой» к этому роду стихов, но в то же время, как мы видели, Державин не был готов записать Дашкову в сонм бессмертных. Как садовник, взращивающий литературные и ученые плоды, она может заработать себе поэтические похвалы и таким путем стать кандидатом на бессмертие.

В предпоследней строфе Дашкова сопоставляется с самим поэтом, что отражается в употреблении местоимения «нам» («Не должно ли и нам терпеть?»), хотя это может быть всего лишь безличный призыв стоицизма:

Седый собор Ареопага,
На истину смотря в очки,
Насчет общественного блага
Нередко ей давал щелчки;
Но в век тот Аристиды жили,
Сносили ссылки, казни, смерть;
Когда судьбы благоволили,
Не должно ли и нам терпеть?

Державин идентифицирует «Седый собор Ареопага» с Сенатом, а «щелчки» — с «некоторыми неприятностями», которые Сенат вместе с А. А. Вяземским доставили ей.³⁷ Здесь Державин солидаризуется с Дашковой, поднимая ее (и себя) до уровня Аристида, великого афинского полководца и государственного деятеля, известного своими гражданскими добродетелями и презрением к славе и вознаграждению. В то же время это утверждение ведет к торжественному финалу.

Итак, какие же темы или мотивы оды «На смерть графини Румянцевой» говорят о «нравственной и эстетической независимости поэта»? И какую роль играет Дашкова в этой основной теме оды, по словам Крон? Причем она здесь вообще?

С одной стороны, в оде «На смерть графини Румянцевой» звучит тема «суеты сует» из Екклесиаста («все в свете тлен», и самое главное — душевное спокойствие),³⁸ а также темы злейших из зол — всепобеждающей смерти и непостоянной фортуны («вертится всеминутно / Людской фортуны

Академии» «редким размышлением над женским участием в развивающейся европеизированной культуре России» (Eighteenth-Century Russian Women Poets, ed. and trans. Amanda Ewington. *The Other Voice in Early Modern Europe*, Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, University of Toronto (в печати)). См. также: *Rossllyn W. Mar'ya Vasil'evna Sushkova: An Enlightened Woman of the Eighteenth Century* // *Oxford Slavonic Papers*. Т. 33 (2000). С. 85–107; и *Bennett S. S.* «Parnassian Sisters». Р. 252–253.

³⁷ Сочинения Державина. Т. 3. С. 622.

³⁸ См.: *Levitt M. C.* *The Visual Dominant*. Р. 184–194.

колесо»). В графине Румянцевой поэт ценит ее разумное отношение к обоим бедствиям: ее стоицизм и добродетели были сильнее фортуны, а ее долгая жизнь, казалось, неподвластна смерти: «Смерть добродетели щадила / Она жила почти сто лет». Отсутствие этих важнейших качеств — главный упрек Державина к Дашковой, к которой обращено центральное наставление стихотворения: «Всяк должен к вечности пристать». Имея это в виду, Дашкова должна примириться со своими семейными обстоятельствами, забыть о власти и о славе, найти утешение у домашнего очага.

С другой стороны, в оде присутствует и тема бессмертия, понимаемого как долгая память о человеке на земле, которая метафорически противопоставляет смерти. Добродетели Румянцевой — особенно как матери героя — сохраняют ее имя («Но именем своим прекрасным / Еще, еще она живет»). И у Дашковой есть подобная возможность достичь славы как матери героя: «С победой, с славою, с женою, / С трофеями придет в дом», но в этом случае ей придется помириться с невесткой. Однако есть и другой путь к бессмертию — занятия на поприще русской литературы, и здесь у Дашковой тоже есть возможность «обессмертить себя»: как «глава двух академий», как меценат наук и искусств и как предмет одического восторга.

Однако вопрос о соответствии оды «На смерть графини Румянцевой» «хвалебной песни» остается. Стихотворение довольно двусмысленно. Да, между поэтом и княгиней много общего, в том числе те «нередкие щелчки» «седого собора Ареопага», от которых оба страдали, и которые оба снесли. Но в оде говорится и о военном вызове России, и уверенно заявляется ее победа:

Терпи! — Самсон сотрет льву зубы,
А Навин потемнит луну;
Румянцев молнии дхнет сугубы,
Екатерина тишину.

Угрозы со стороны Швеции (Лев) и Турции (Луны), с которыми Россия (Самсон) тогда воевала, будут преодолены — через воинскую доблесть Румянцева и дипломатическое мастерство Екатерины II. Движение от этих строк из предпоследней строфы до последних четырех, в которых поэт торжествует свое бессмертие, указывает на равенство между победами России и поэта. Его уверенность в полной победе, как физической, так и духовной над своими противниками («Я злобу твердостью сотру / Врагов моих червь кости сгложет, / А я пиит — и не умру») сродни уверенности в победах России.

И Дашковой оставлена возможность победы (служение муз, преодоление невзгод, достижение бессмертия), но все стихотворение проникнуто ее

критикой. Если в стихотворении «На смерть графини Румянцевой» можно увидеть элегию Румянцевой и оду России, то как послание Дашковой оно двусмысленно. Спрашивается, почему эту раннюю декларацию «нравственной и эстетической независимости поэта» (по выражению Крона) нужно было делать за ее счет. Можно предположить, что самоутверждение Дашковой и проявленная ею независимость, оказываясь неким психологическим препятствием Державину, одновременно содействовали утверждению его собственной позиции.

ПОХВАЛА ВЛАСТИТЕЛЮ: «ГИМН КРОТОСТИ» ДЕРЖАВИНА*

Предлагаемая статья посвящена интерпретации одного панегирического стихотворения Державина — «Гимна Кротости». Он был написан по поводу коронации Александра I, состоявшейся 15 сентября 1801 года в Москве.¹ В каких условиях возникло это стихотворение? Каким образом служило оно своей панегирической цели?

Отвечая на эти вопросы, я имею в виду не только эстетическое своеобразие текста. Разбор одного конкретного примера призван также пролить свет на тот социально-политический контекст, в котором создавалась и функционировала русская панегирическая поэзия начала XIX вв. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на один функциональный вид поэзии — похвала властителю, в котором продолжилась чрезвычайно богатая традиция европейской литературы,² и значение которой для русской литературы XVIII века трудно переоценить.³ В течение шести десятилетий стихотворная

* При переводе этой статьи мне помогала И. Паперно.

¹ *Державин Г. Р.* Сочинения с объясн. примеч. Я. Грота: В 9 т. 2-е изд. СПб., 1868–1878. Т. II. С. 244–246. Далее в статье при ссылках на это издание в скобках римской цифрой указываются тома, арабской — страницы.

² *Hamsch B.* Herrscherlob // *Historisches Wörterbuch der Rhetorik.* Tübingen, 1996. Bd III. Sp. 1377–1392. Основываясь на обширной библиографии, автор предлагает теоретическое определение и исторический обзор панегириков «властителю» в том виде, как они культивировались и вне Европы.

³ С некоторых пор заметен усиленный научный интерес к русской панегирической поэзии; см. прежде всего: *Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века.* Изд. П. Бухаркин, У. Екуч, Н. Д. Кочеткова. СПб., 2010; см. также соответствующие статьи в сборнике по русской литературе и культуре, который должен выйти в качестве специального номера журнала «Russian Literature».

похвала императорам находилась в центре литературной жизни, которая начинала освобождаться от императорского влияния только к концу века.

Жанр и панегирическое бескорыстие

Несмотря на то, что стихотворение Державина имеет жанровое обозначение «гимн», легко узнать в нем торжественную оду.⁴ В одном из «объяснений», которыми пожилой Державин снабжал свои произведения, он и сам называет «Гимн Кротости» «одой» (III, 563). В дальнейшем и я буду так называть это стихотворение. Что связывает его с одической традицией? Во-первых, это его окказиональный характер — текст написан по определенному официальному поводу, коронации Александра I. Во-вторых, роднит его с одой также панегирическая функция, состоящая в восхвалении адресата, Александра I. В-третьих, близости текста к торжественной оде также способствует эмоциональная установка лирического субъекта — установка «вдохновенного» поэта, который «восхищается» прекрасными качествами адресата (первая строфа). В-четвертых, следует назвать еще такие формальные признаки как (умеренно-)высокий стиль, рифмованный четырехстопный ямб и расчленение на строфы, которые, правда, не состоят из десяти, как принято в торжественной оде, а только из восьми строк.

Следуя конвенциям панегирической поэзии, Державин опубликовал свою оду «Кротости» сначала отдельно, причем один из экземпляров был предназначен для поднесения императору. Однако Державин устроил дело так, что несколько опоздал с одой: по его собственным словам, он написал стихотворение не до, а «вскоре после коронации»,⁵ в знак того, «что он награждения не ожидает» (III, 563). В этой связи он также пишет, что «[м]ножество стихотворцев при сем случае писали императору похвальные стихи, которым жалованы были, как обыкновенно в таких случаях, перстни брильянтовые» (III, 563). Правда, Державин сам получил такую же награду всего полгода назад за свою оду на восшествие на престол Александра I, состоявшееся 12 марта того же, 1801 года (III, 561). Однако теперь он не хотел «подать мыслей», что он «из награды только пишет» (III, 563). Брильянтового кольца он в этот раз действительно не получил, но зато был приглашен к царскому столу (III, 563).

⁴ См.: Алексеева Н. Ю. Русская ода. Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб., 2005.

⁵ См.: Кононко Е. Н. Примечания на сочинения Державина. Часть II // Вопросы русской литературы. Львов, 1975. № 1 (25). С. 118. (Вспомним, что Державин снабжал свои тексты не только «объяснениями», но и «примечаниями»).

«Опаздывая» со своей одой, Державин хотел продемонстрировать панегирическое бескорыстие. Как говорил он сам в «примечании» к своей оде, в свое время некоторые считали, что знаменитая ода «Фелица» 1783 года, которая так понравилась Екатерине II, написана «чрезвычайно ласкательно».⁶ Воспринимая такие упреки очень серьезно, Державин-панегирист все время ощущал потребность взывать не только в своих автокомментариях, но также и в самих стихотворениях к «истине» и «искренности».⁷ Это были апологетические лейтмотивы его поэтического творчества, которые встречаются также, как мы еще увидим, в его оде «Кротости». Тем не менее он и в дальнейшем имел случай защищаться от человека, написавшего «ругательныя стихи», в которых поэт был назван «льстецом» и «корыстолюбцем».⁸

Облик монарха

Желание Державина разниться от прочих панегиристов выражается как в нравственном, так и в формальном плане. Привлекает внимание не только жанровое обозначение «гимн» (вместо «оды») в заглавии текста, но также отсутствие указания на высочайшего адресата и на праздничный «случай». Вместо этого называется тема стихотворения — кротость. Такое заглавие заставляло ожидать, скорее, дидактическое произведение морализующего характера, чем похвальную оду.

Ода «Кротости» своеобразна и по своей композиции. Она не придерживается принципа тематического разнообразия и «прекрасного беспорядка», канонизированного Буало и характерного для «пиндарического» стиля ломоносовских од. Напротив, в оде Державина осуществлен принцип композиционного единства; весь текст строится вокруг одной темы — кротости. В свою очередь, Кротость (это слово пишется Державиным с большой буквы) предстает аллегорической женской фигурой. Правда, аллегоризм часто встречается в панегирической поэзии. Своеобразие же державинской аллегории заключается в том, что она заменяет собой адресата: многочисленные обращения лирического субъекта относятся к императору не прямо,

⁶ См.: Кононко Е. Н. Примечания на сочинения Державина // Вопросы русской литературы. Львов, 1973. № 2 (22). С. 115.

⁷ См.: Клейн И. Истина и искренность в панегирической поэзии Державина // XVIII век. Сб. 27 (в печати).

⁸ См. «примечание» Державина к стихотворению в честь Александра «К царевичу Хлору» 1802 года (Кононко Е. Н. Примечания на сочинения Державина. Часть II. С. 119). В «Объяснениях» Державин упоминает в этой связи одну «поносительную оду», написанную не только «на автора [т. е. на Державина]», но «и на императора» (III, 565).

а только через аллгорию кротости. Таким образом, Александр I представляется олицетворением этой добродетели или, наоборот, аллегорическая Кротость воплощает в себе его нравственный облик. Когда Державин говорит в одном «примечании», что ода «Кротости» относится «всем своим содержанием» к личности императора,⁹ он имеет в виду именно это двуединство аллгории и адресата. Поэтому личные и посессивные местоимения второго лица в оде «Кротости» всегда имеют двойную направленность — они относятся одновременно и к Кротости, и к Александру.

Так, например, обстоит дело в первой строфе. Она состоит из ряда обращений, которые служат восхвалению Кротости, т. е. Александра. В конце строфы лирический субъект говорит также о себе, уверяя адресата в своей искренности. Этот мотив повторяется и в следующей — второй — строфе и подхватывается в конце последней — десятой — строфы. Отметим, впрочем, что в первой строфе, как и во всем стихотворении, теме кротости соответствует подчеркнутый отказ от динамизма и «шума» одического стиля ломоносовской традиции:

1. Сиянье радужных небес,
Души чистейшее спокойство,
Блеск тихих вод, эдем очес,
О Кротость, ангельское свойство!
Отлив от Бога самого!
Тебе, тобою восхищенный,
Настроиваю, вдохновенный,
Я струны сердца моего.

Жанровая неоднозначность державинской оды связана с риторическим отождествлением адресата с аллгорией. Так, восклицание «О Кротость, ангельское свойство! / Отлив от Бога самого!» представляет собой не только похвалу императора, но также морализующее утверждение о кротости как «ангельской» добродетели. В свою очередь, это нравоучение соответствует одному фундаментальному принципу Державина-панегириста: с его точки зрения, похвала властителю служит не только культу императора, но также морально-дидактической цели. Так, мы читаем в одном из «примечаний» Державина, что он как одописец делал «всегда в ласкательных своих выражениях нравоучения», «что видно во всех его сочинениях» (как и в других текстах этого типа Державин говорит здесь о себе в третьем лице).¹⁰ Это

⁹ См.: Кононко Е. Н. Примечания на сочинения Державина. Часть II. С. 118.

¹⁰ Это «примечание» относится к стихотворению «На умеренность» (1792); см.: Кононко Е. Н. Примечания на сочинения Державина (продолжение) // Вопросы русской литературы. Львов, 1974. № 1 (23). С. 86.

программное высказывание свидетельствует не только о близости автора к европейскому Просвещению, свято верующему в пользу морального увещевания. Оно также повторяет одно традиционное представление о панегирической литературе: похвала героям и властителям представляет собой всегда похвалу добродетели, носителем которой является адресат.¹¹ С этой точки зрения, панегирический текст ценен только тогда, когда автор говорит правду — если он не приписывает адресату добродетели, которой у него нет. Только в этом случае он заслуживает названия «правдивого поэта», которому чужда «презренная лесть».¹²

У Державина риторическое отождествление адресата с кротостью имеет важные последствия для панегирического содержания его стихотворения. Правда, он не прочь отдать дань панегирической конвенции: Александр предстает царем «земного полушара» (вторая строфа) и уподобляется солнцу, традиционному символу абсолютистской власти (пятая и шестая строфы).¹³ Подобно другим одописцам, Державин также не стесняется сакрализировать адресата: «И дети на него так зрят, / Как бы на Бога лучезарна» (седьмая строфа). Отметим, что слово «Бог» пишется здесь не с маленькой, а с большой буквы — речь идет не о языческом Зевсе, а о христианском

¹¹ См.: *Hardison O. B. Jr. The Enduring Monument. A Study of the Idea of Praise in Renaissance Literary Theory and Practice.* Chapel Hill/NC, 1962. P. 29–36; *Hamsch B. Herrscherlob.* Sp. 1383–1386.

¹² См. отдел «О героических похвальных стихотворениях» в поэтике Готтшеда: панегирист должен «хорошо знать характер восхваляемой персоны, чтобы не приписать ей качеств, которых у ней нет [...]. Правдивый поэт стыдится произнести [...] презренную лесть и восхваляет только того, о котором можно сказать что-то специфическое и славы достойное» (*Gottsched J. Chr. Versuch einer Critischen Dichtkunst.* 4. Ed. Leipzig, 1751. Факсимильное изд.: Darmstadt, 1982. S. 543–544). Нравственный пафос этого определения ослабляется в риторике Квинтилиана, который допускает отклонения от панегирической правды, если они служат общим интересам, т. е. если они мотивированы политически (*Institutio oratoria*, II, VII, 25). Автор позднеантичной риторики Менандр идет еще дальше. Панегирист имеет право на «выдумки», но они должны быть «убедительны», причем Менандрос исходит из того, что публика не имеет возможности проверить правдивость панегирика (*Menander. Rhetor.* Edited with Translations and Commentary by D. A. Russel, N. G. Wilson. Oxford, 1981. P. 80–81 (371, 10–14)); см.: *Mause M. Die Darstellung des Kaisers in der lateinischen Panegyrik.* Stuttgart, 1994. S. 18. На фоне такой концепции не случайно, что античные историографы отграничивались от панегиристов; см.: *Gärtner H. Einige Überlegungen zur kaiserlichen Panegyrik und zu Ammians Charakteristik des Kaisers Julian* // In: *Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse.* 1968. Jahrgang 10. S. 503–509.

¹³ См.: *Heldt K. Der vollkommene Regent. Studien zur panegyrischen Casuallyrik am Beispiel des Dresdner Hofes Augusts des Starken.* Tübingen, 1977. S. 165–181.

Боге.¹⁴ Мы теперь понимаем, почему Державин назвал свое стихотворение не «одой», а «гимном», явно имея в виду религиозный ореол этого понятия.

Однако такие стандартные мотивы играют в державинской оде лишь второстепенную роль: главное место занимает все же кротость. Бросается в глаза отсутствие таких привычных атрибутов идеального монарха, как геройство или его «громкая слава», которая наполняет вселенную. Не упоминается также его «мужская» решимость и постоянство, неутомимое трудолюбие, богобоязненность и усердие в защите православной веры. Заслуживает особого внимания, что в оде «Кротости» не называется имя Петра Великого, которому должен подражать новый император, что, конечно, не было бы совместимым с темой кротости.

Державин приписывает Александру мудрость, но только мимоходом, а настаивает на другой добродетели — на милосердии (об этом см. ниже). В последней строфе, т. е. в маркированной позиции, мы узнаем, что украшает «кроткого» Александра не только правосудие, но и чувство прекрасного. Кроме того, ему чужды тщеславие и спесь, он «приветлив» и «молчалив», он проявляет во всем «умеренность» и не способен кому-либо сделать зло. Строфа кончается уже известным уверением в панегирической правдивости:

10. Ты [= Кротость] не тщеславна, не спесива,
Приятельница тихих Муз,
Приветлива и молчалива;
Во всем умеренность — твой вкус;
Язык и взгляд твой не обидел
Нигде, никак и никого:
О! если б я тебя не видел,
Не написал бы я сего.

Александр предстает здесь не как возвышенный властелин одической традиции, не как новый Петр Великий, а как симпатичное частное лицо. Уменьшается дистанция между монархом и подданным. Перед русским императором следовало благоговеть; но Александра можно было также любить: его самодержавная власть легитимирована не только законом Божьим, но также сердечными чувствами подданных. Особенно характерным в этом отношении является третья строфа державинской оды, где речь идет о том, что «милый образ» Александра обезоруживает завистников.

¹⁴ См.: Успенский Б. А., Живов В. М. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. М., 1996–1997. Т. 1. С. 205–337.

Эта фраза вполне соответствовала действительности: юношески-приятная внешность молодого императора очень способствовала его популярности; вспомним фразу «эдем очес» из первой строфы, которая относится не только к аллегорической Кротости, но также к реальному Александру. Один современник восхищается не только его «ангельским лицом», но также его «пленительной улыбкой».¹⁵

Расчет панегириста

Выделение, скорее, «человеческих», чем возвышенных, и, во всяком случае, не одических черт императора в оде «Кротости» имеет политический смысл: Державин создает новый, очень далекий от петровской традиции образ русского монарха. Однако ода «Кротости» интересна не только в политическом, но также и в личном, биографическом плане. В конце XVIII века Державин был не только знаменитым поэтом, но и крупным чиновником, членом административной элиты российской империи. Однако в 1801 году, после восшествия на престол Александра I, он оказался «в весьма невыгодном служебном положении».¹⁶ Дело в том, что Державин, государственный человек старой школы, которому тогда было уже 57 лет, не мог одобрить политических идей молодого императора и его друзей. Эти идеи касались таких фундаментальных вещей, как переход от самодержавной к конституционной монархии и смягчение или даже отмена крепостного права.¹⁷ Кроме того, Александр опирался на вельмож старого поколения, которые не благоволили Державину. Неслучайно поэтому, что он был удален от некоторых крупных дел; его «безмерно огорчило», что члены Правительствующего Сената не учли его мнения в одном важном деле.¹⁸

Можно предположить, что Державину в этой ситуации как раз была кстати коронация Александра: от него, «первого поэта» России, должны были ждать теперь панегирической оды. Это была прекрасная возможность

¹⁵ См.: Жихарев С. П. Дневник чиновника // Жихарев С. П. Записки современника: В 2 т. Л., 1989. Т. II. С. 42 (записка 2 декабря 1806 года). См. также: Wortman R. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton/NJ. Vol. I. P. 193–214: «Ангел на троне». Автор останавливается в этой связи также на оде «Кротости» (р. 198).

¹⁶ См.: Грот Я. К. Жизнь Державина [1883]. М., 1997. С. 510–514.

¹⁷ См.: Clardy J. V. G. R. Derzhavin. A Political Biography. Den Haag; Paris, 1967. P. 185–207 («Жизнь с либералами»).

¹⁸ См. автобиографические «Записки» Державина (VI, 401–790, здесь 725).

обратить на себя благосклонное внимание государя и улучшить свое служебное положение. Однако при этом возникает вопрос о панегирическом бескорыстии, на которое Державин так настойчиво претендовал. Прежде чем говорить в этой связи о нравственной непоследовательности или лицемерии поэта, необходимо учесть следующие обстоятельства. Как при других дворах европейского абсолютизма, жизнь петербургского царедворца была постоянной борьбой за близость к трону и за милость богоподобного правителя.¹⁹ Участвовал в этой борьбе также Державин. Правда, ему не были чужды тщеславие и карьерное честолюбие. Однако его одушевляло также строгое чувство долга. Не боясь никаких служебных конфликтов с другими вельможами, осмеливаясь спорить иногда даже с монархом,²⁰ он придерживался петровского идеала «общего блага», которое заключалось для него прежде всего в правосудии;²¹ он гордился своей неподкупностью, редкой тогда добродетелью. В данной ситуации он мог надеяться, что похвальное стихотворение в честь нового императора поможет ему снова получить влиятельную позицию, которая бы позволила ему осуществлять свои служебные идеалы и в дальнейшем.

Так и поступил Державин: кроме оды «Кротости», он написал несколько других стихотворений на коронацию.²² Стремясь к разнообразию, он отступил в них еще дальше от одической формы, чем в оде «Кротости»; отдельные тексты сильно отличаются друг от друга. Речь идет о двух «Хорах», о стихотворениях «На коронацию императора Александра I» и на «Венчание Леля». В последнем молодой император выступает в облике Леля, псевдославянского эквивалента классического Купидона (вспомним фразу о «милом образе» Александра в оде «Кротости»). Кроме того, Державин еще в мае того же года, т. е. за несколько месяцев до коронации, написал панегирическое стихотворение, в котором он прибегал не к славянской, а к классической мифологии: «Явление Аполлона и Дафны на невском берегу». Весенняя прогулка молодого императора с супругой послужила поводом для стихотворения. Неофициальный характер этого повода должен был выразить эмоциональную спонтанность — «искренность» — панеги-

¹⁹ См. богатый материал по этой теме в «Записках». Из литературы о придворной жизни в эпоху абсолютизма см.: *Elias N. Die höfische Gesellschaft. Darmstadt; Neuwied* (четвертое изд.) 1979; *Kruedener J. Von die Rolle des Hofes im Absolutismus. Stuttgart, 1973.*

²⁰ Такой спор стал темой одного из его стихотворений; см.: *Клейн И. Мудрость Горация и автобиографический принцип в лирике Державина (Стихотворение «На умеренность») // XVIII век. СПб., 2011. Сб. 26. С. 221–237.*

²¹ См.: *Кочеткова Н. Д. «Правосудие» и «милость» в поэзии Державина // XVIII век. СПб., 1996. Сб. 20. С. 72–78.*

²² См.: *Грот Я. К. Жизнь Державина. С. 510.*

риста. При виде императорской четы он испытывает чувство радостного удивления; «трепетание сердечно» его уверяет в том, что перед ним Аполлон и Дафна в человеческом облике (II, 237).

В 1801 году повторилась для Державина ситуация, в которой он находился уже ранее, двенадцать лет тому назад. После увольнения с поста тамбовского губернатора, он в 1789 году хлопотал о новом месте на государственной службе. Державин сам рассказывает, что он тогда «прибегнул» «к своему таланту», сочинив оду в честь Екатерины II — «Изображение Фелицы». Этот маневр пользовался успехом: императрица пожаловала Державину, правда с двухлетним опозданием, пост статс-секретаря в своем непосредственном окружении.²³

По-видимому, панегирические стихотворения, написанные Державиным в честь Александра I в 1801 году, также оказались успешными, однако мы не знаем, в какой именно мере. Ведь улучшению его служебной позиции способствовали также административные заслуги: за свой меморандум о преобразовании Правительствующего сената он в день коронации получил орден Александра Невского. Тем не менее могло казаться не лишним укрепить свое положение также с помощью поэзии; сочинив панегирические стихотворения, он принял, так сказать, дополнительные меры.

Как мы уже знаем, Державин получил за оду «Кротости» приглашение к царскому столу. Последовали дальнейшие доказательства высочайшей благосклонности. Об этом свидетельствует стихотворение, которым Державин 23 ноября 1801 года радостно отреагировал на очень выгодную для него встречу с Александром — «Беседа с гением» (II, 248–249), причем слово «гений» употребляется в значении «бога покровителя».²⁴ 8 сентября следующего года Державин даже стал министром юстиции. Однако политические причины помешали тому, чтобы он долго удержался на этом месте — через год он с огорчением вышел в отставку. Это был конец его служебного поприща.

Свирепый «Норд»

Побуждения, заставившие Державина написать хвалебные стихотворения на нового императора, носили вполне утилитарный, хотя и не обяза-

²³ Аналогично дело обстоит с одой Державина «на Новый 1797 год» (II, 10–14). В «Записках» мы читаем, что он навлек на себя гнев Павла I в одном служебном разговоре. Поэтому он «вздумал [...] возвратить к себе благоволение Монарха посредством своего таланта» и написал свою оду (VI, 675).

²⁴ См.: Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984. Т. 5. С. 104.

тельно предосудительный характер. Однако при написании этих текстов возникла, кроме проблемы бескорыстия, еще одна трудность: нужно было хвалить Александра, но за что? За его либеральные идеи, которые Державин не одобрял? За политические достижения? После полугодичного царствования их еще было немного. Правда, новый император успел отменить Тайную канцелярию и помиловать заключенных и ссыльных. Державин прозрачно намекает на эти примеры высочайшей «кротости» в своей оде; расшифровку этих аллюзий мы находим в соответствующем «объяснении» (III, 563). Однако в остальном он должен был довольствоваться отвлеченными фразами: Александр заслуживает «сан мудрости», он «сотворяет все лучшим» и «усовершенствует» «добродетели святые» (третья строфа).

Как мы видели, Державин-панегирист, рисуя образ адресата, ставит главный акцент не на политическом, а на «человеческом» элементе. Дело тут не только в нехватке панегирических аргументов. Важную роль при этом играет также непосредственный исторический опыт, т. е. личность и царствование Павла I, отца Александра и его предшественника на российском престоле. Согласно официальной версии, Павел умер от удара; в действительности, он был убит в результате придворного заговора. Воспринимаемая смерть Павла как избавление от тирана, жители обеих столиц отдались шумному веселию: «[В] домах, на улицах люди плакали от радости, обнимая друг друга, как в день светлого Воскресения».²⁵

Идя навстречу этому настроению, Державин тогда, в марте 1801 года, написал оду «На восшествие на престол императора Александра I» (II, 227–231). В ней он изображает Павла как страшного человека, пользуясь при этом метеорологической метафорикой: с Александром начинается прекрасная весна, которая идет на смену «грозной» зиме; с новым — XIX — столетием начинается новая эпоха в истории русского государства:

1. Век новый! Царь младый, прекрасный
Пришел днесь к нам весны стезей!
[...]
Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд;

²⁵ См.: *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях [1811]. М., 1991. С. 46. См. также: «Записки Н. А. Саблукова о временах императора Павла I и о кончине этого государя [1865]». СПб., 1907. С. 75: «Это движение [т. е. смена режима], вдруг сообщенное всем жителям столицы [...], действительно заставило всех ощущать, что с рук их, словно по волшебству, свалились цепи, и что нация, как бы находившаяся в гробу, снова вызвана к жизни и движению». О реакции других современников см.: *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование: В 2 т. СПб., 1904. Т. II. С. 7–11.

Зефиры спорхнули крылаты,
На воздух веют аромат;
На лицах Россов радость блещет,
Во всей Европе мир цветет.

В «объяснении» к этому стихотворению Державин обрушивается на тех «неприятелей», которые воспринимали метафорический «Норд» как намек на Павла, узнавая в нем его «страшный взгляд и сиповатый голос» (III, 561). Он, напротив, утверждает, что в этом тексте только повторял условную метафорику своего старого стихотворения «На рождение в Севере порфирородного отрока» 1779 года, где противопоставление зимы и весны служило контрастным приемом для выражения невинной радости о рождении Александра, наследника престола. Однако это уверение было явной отговоркой²⁶ — из того же «объяснения» явствует, что Державин боялся вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая могла гневаться за обиду покойному супругу (на самом деле обошлось без всяких неприятностей, как сообщает сам Державин — III, 561). Впрочем, нападения на Павла встречаются и в других местах его стихотворения. Все это не осталось скрытым от современников. Один из них цитирует строки «Умолк рев Норда сиповатый, / Закрылся грозный, страшный взгляд» и находит в них «верное [...] изображение» Павла I.²⁷

Чем мрачнее получился «портрет» Павла, тем светлее воссиял образ Александра. Вспомним, что русская история XVIII века была богата дворцовыми переворотами; в таких условиях панегиристы, угождая новой власти, часто рисовали мрачную картину прошлого, теперь «преодоленного» благодаря смене режима.²⁸ Смотри, например, оду Ломоносова 1747 года, написанную в честь Елизаветы Петровны на годовщину ее восшествия на престол. Подобно Александру, Елизавета была обязана своей властью дворцовому заговору. В 8 и 9 строфах своей оды Ломоносов изображает предшествующую эпоху Анны Иоанновны как апокалиптический хаос. Таким образом он пытался укрепить шаткую легитимность Елизаветы.

Однако в случае державинской оды на восшествие на престол Александра I дело обстояло сложнее: привычной диффамации предшествующего режима противостояли соображения семейного пиетета. Ведь новый импе-

²⁶ См. комментарий Грота (II, 231–232).

²⁷ Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти [1854]. В: Дмитриев М. А. Московские элегии. М., 1985. С. 169.

²⁸ См.: Vroon R. Panegyric Responses to Peter III, Catherine II and the Coup d'Etat of 1762 // Russian Literature» (специальный сборник по русской литературе и культуре XVIII века) (в печати).

ратор был родной сын старого. Тем не менее Александр, отношения которого со вспыльчивым и властным отцом были далеко не гармоничны,²⁹ милостиво принял оду Державина; кольцо, которое он пожаловал ему, стоило 5000 рублей (III, 561), будучи в два раза с половиной дороже, чем то кольцо, которое досталось Н. М. Карамзину за оду на тот же самый случай (правда, Державин был значительно выше по чину, чем Карамзин).³⁰ Тем не менее державинская ода была запрещена цензурой; из многочисленных стихотворений, написанных в честь нового императора, она была единственная, которая не смогла появиться в печати.³¹ Как можно добавить, цензурный запрет не достиг своей цели: рукописная версия оды нашла многочисленных любителей, которые читали ее «с жадностью».³²

Панегирическая чувствительность

Вернемся к оде «Кротости». Державин создал образ Александра явно с оглядкой на Павла, причем отказ от прямого противопоставления двух императоров обезоружил цензуру. Подобно оде на восшествие на престол Александра I, однако другими, более тонкими, средствами Державин в оде «Кротости» шел навстречу общему настроению: в 1801 году было невозможно радоваться кроткому сыну, не вспоминая о свирепом отце. При этом мотив кротости приобрел у Державина эмоциональную выразительность, которой он никогда ранее не имел в русской панегирической традиции.³³

Пусть концентрация на этом мотиве является выходом из неловкой для Державина-панегириста ситуации, возникшей от нехватки похвальных аргументов. Однако ему блестяще удалось превратить этот порок в добродетель эмоционального эффекта. Это тем более, что мотив кротости соответствовал духу времени еще в другом отношении: образ кроткого молодого императора отвечал как нельзя лучше вкусу модного тогда сентимента-

²⁹ Один современник из непосредственного окружения Павла I рассказывает, что великие князья Александр и Константин «боялись своего отца, и когда он смотрел сколько-нибудь сердито, они бледнели и дрожали» (Записки Н. А. Саблукова. С. 27). См. также: *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Т. 1. С. 175–177.

³⁰ См. цитату из рукописного дневника Ивана Алексеевича Второва, которую приводит Я. Грот в «Приложении» к своему комментарию (II, 233–235, здесь 234).

³¹ См.: *Грот Я. К.* Жизнь Державина. С. 509.

³² См. дневник И. А. Второва (II, 234).

³³ Мотив кротости часто встречается в русских одах; он является эквивалентом *clemtentia*, наряду с мудростью, стойкостью, щедростью и т. д. традиционной добродетели идеального правителя. Ломоносов употребляет этот мотив в своих стихах на Елизавету Петровну, например, в оде на день рождения 1746 года (десятая строфа) или в оде на годовщину восшествия на престол 1748 года (одиннадцатая строфа).

лизма.³⁴ Правда, Державин-поэт не отличался особенной чувствительностью. Однако в стихотворении, посвященном Александру, сентиментализм прямо напрашивался. Чувствительный тон присутствует и в панегирических стихотворениях, написанных другими авторами на его коронацию.³⁵ Однако элементы сентиментализма не обязательно зависели от личности адресата. Об этом свидетельствует ода Карамзина «на случай присяги московских жителей Его Императорскому Величеству Павлу Первому, Самодержцу Всероссийскому» (1796).³⁶

В оде «Кротости» сентиментализм заметен не только в тематике, но также в ряде стилистико-тематических подробностей, как, например, в известном нам уже обороте «милый образ твой» из третьей строфы. Подобно таким выражениям, как «нежный» и «чувствительный», слово «милый» был языковым сигналом русского сентиментализма; вспомним знаменитое начало «Писем русского путешественника» Карамзина.³⁷ В этом отношении также конец первой строфы оды «Кротости» является характерным: лирический субъект собирается настроить не свою лиру, стандартный символ высокой оды, а «струны сердца» своего. Сюда принадлежат также известные нам уже уверения в панегирической искренности: с точки зрения Державина, поэтическое произведение больше не является только артефактом, свидетельствующим об искусстве сочинителя, как думали русские авторы старшего поколения, но аутентичным выражением авторских чувств, «зеркалом его души».³⁸

К сентименталистским элементам оды «Кротости» принадлежит также трогательная метафорика восьмой строфы. Александр проявляет гуманное сочувствие даже самому низменному из подданных: «Надломленная

³⁴ См.: Орлов П. А. Русский сентиментализм. М., 1977; Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994.

³⁵ См.: Хольцц Б. Панегирики Александру I у Буниной, Урусовой и Волковой // Оказиональная литература. С. 222–223.

³⁶ См.: Jekutsch U. Das Lob Pauls I. Herrscherpanegyrik in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts. In: Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress Ohrid 2008. München, 2008. S. 470–472; Golburt L. The Queen is Dead, Long Live the King: Paul I's Accession and the Plasticity of Late Eighteenth-Century Panegyric // Russian Literature (выпуск посвящен русской литературе и культуре XVIII века) (в печати).

³⁷ «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 5).

³⁸ Подробнее см.: Клейн И. Истина и искренность в панегирической поэзии Державина.

не преломишь / Былинки, по неправде, ты». Державин, по-видимому, здесь имел ввиду того казанского «мещанина», т. е. человека низкого состояния и поэтому беззащитного как «былинка», которого он упоминает в «объяснении» к своему стихотворению: этот человек был «замучен [...] пытками» [= был «надломлен»] по «неосновательным подозрениям в зажигании города». Как далее пишет Державин, Александр узнал о судьбе этого страдальца и спас его от дальнейших преследований (III, 563).

О сентименталистском характере державинской оды свидетельствует также седьмая строфа. Мотив «царского солнца» сопровождается здесь трогательными мотивами (благодарные дети, старики):

7. Куда [монарх-солнце] свой путь ни обращает,
В село, обитель или град:
Народ его волной встречает,
И дети на него так зрят,
Как бы на Бога лучезарна.
Преклоншись старцы на клюках,
Движеньем сердца благодарна,
Сверкают радостью в очах.

В следующей строфе лирический субъект снова говорит о сердечных чувствах подданных:

8. Так, Кротость, так ты привлекаешь
Народные к себе сердца;
[...]

Отметим, что с темой «любовных» отношений властителя и подданных Державин подхватывает мотив, который рядом с «человеколюбием» постоянно повторялся в екатерининских манифестах и указах.³⁹ Эта связь не случайна: Александр хотел в своем первом манифесте продолжать политику «августейшей бабки нашей».⁴⁰ С точки зрения нового века, главным ориентиром царской власти оказался уже не Петр I, а «человеколюбивая» Екатерина II.

Феминизация властителя

Как мы уже знаем, Державин в оде «Кротости» очень далеко ушел от традиционного — петровского — образа русского императора. Однако

³⁹ См.: *Wortman*, *Scenarios of Power*. P. 110–122: «Демонстрации любви».

⁴⁰ См. текст манифеста в: *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Т. II. С. 6.

его образ идеального властителя не был без прецедента в русской литературе: ему предшествовал Иоанн IV из героического эпоса М. М. Хераскова «Россияда», первая редакция которого вышла в 1779 году. У Хераскова этот «грозный» царь предстает человеком с мягким сердцем; во второй песни он растроган и имеет «заплаканные глаза».⁴¹

Перед нами характерный признак русского сентиментализма: тенденция к «феминизации».⁴² «Послание к женщинам» (1796) Карамзина является стихотворной программой этой тенденции. Текст строится на противопоставлении «мужских» и «женских» качеств, т. е. речь идет о тех мужских и женских ролях, которые преобладали в России XVIII века (и не только там). Автобиографическому субъекту «Послания» удалось освободиться от таких стереотипов: о военном призвании он говорит с иронией; проявляя нежные чувства, сопровождаемые обильными слезами, он восхищается «женскими» добродетелями, прежде всего милосердием.

Отождествляя Александра с аллегорической «Кротостью», Державин окружает его женским ореолом. В последней — десятой — строфе Кротость является «приятельницей тихих Муз»; в четвертой строфе она сначала предстает «подругой» девиц, потом «наперсницей» жен и в конце также советницей мужчин, и не только в мире, но и на войне. Дидактический элемент державинской оды выступает в этой строфе особенно рельефно:

4. Подруга ль где [= Кротость] ты дев прекрасных, —
Их скромный взгляд — магнит сердец;
Наперсница ль в любви жен страстных, —
В семействах счастья ты венец;
Идут ли за твоей рукою
В советах мужи и в боях, —
Пленяют и врагов тобою
В их самых страшных должностях.

⁴¹ Херасков М. М. Россияда. Поэма в XII-и песнях. СПб., 1895. С. 33. О сентименталистских чертах героя см.: *Thiergen P. Studien zu M. M. Cherskovs Versepos «Rossijada». Materialien und Beobachtungen.* Bonn, 1970. S. 321–336.

⁴² О феминизации языка в русском сентиментализме см.: *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985. С. 57–60; «Ориентация на язык и вкус светской дамы»; *Breuillard J.* La «langue des femmes» dans la littérature russe du XVIIIe siècle // *Breuillard J. Derrière l'histoire — la langue. Études de littérature, de linguistique et d'histoire (Russie et France, XVIIIe–XXe siècles.* Paris, 2012. P. 135–146. О феминизации русской литературы см.: *Vowles J.* The «Feminization» of Russian Literature: Women, Language and Literature in Eighteenth-Century Russia // *Women Writers in Russian Literature.* Ed. T. W. Clyman, D. Greene. Westport/Conn.; London, 1994. P. 35–60; *Hammarberg G.* Nikolai Mikhailovich Karamzin // *Early Modern Russian Writers. Late Seventeenth and Eighteenth Centuries /* Ed. M. C. Levitt. Detroit et al., 1995. P. 143–145.

«Женственность» Александра подчеркивается противопоставлением совсем не «женскому» Павлу I. Подобно Иоанну Грозному Хераскова, подобно и лирическому субъекту Карамзина, державинский Александр нарушает границу между женским и мужским началами. Возникающая неоднозначность заметна и тогда, когда он называется «ангелом».

Этой неоднозначности соответствует тот исторический факт, что русская монархия XVIII века находилась под знаком женской власти. Эта власть начиналась с Екатерины I, супруги и преемницы Петра I на русском престоле, и продолжалась в царствование Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Чтобы легитимировать свою власть, Анна, Елизавета и Екатерина II часто показывали себя подданным с мужскими атрибутами, выступая, например, в гвардейском мундире или в «мундирном платье»; в публичном образе Екатерины андрогинная неоднозначность была особенно заметна.⁴³

Как мы видели, Иоанн Грозный Хераскова, лирический субъект Карамзина и Александр Державина нарушают границу между мужским и женским началами в обратном направлении: не от женского к мужскому, а от мужского к женскому полюсу. Происходит сдвиг оценки. У трех императриц мужской принцип носил положительный характер, ассоциируясь с мудростью, силой и решимостью. У Державина же, как и у Карамзина, мужской принцип отмечен отрицательно: с «женской» властью Александра русские подданные избавлены от «мужского» тиранства Павла I.

⁴³ См.: *Проскурина В.* Перемена роли: Екатерина Великая и политика имперской трансверсии // *Новое Литературное Обозрение.* 2000. № 54. С. 98–118; *Вачева А.* «...Я страшно люблю верховую езду». Топос амазонки в автобиографии Екатерины II // *Болгарская русистика.* 2005. № 2–3. С. 48–59.

А. О. Дёмин

РУКОПИСЬ Г. Р. ДЕРЖАВИНА В ИРЛИ

В 2010 г. в ходе обработки не разобранный части фондов РО ИРЛИ сотрудницей Отдела Л. В. Герашко была обнаружена рукопись, по рассмотрению присоединенная к фонду № 96 (Державин).¹ Это прямоугольный фрагмент бумаги в четвертую долю писчего листа бледно-коричневого цвета с текстом стихотворения Г. Р. Державина «Параше» (1798) и подстрочным примечанием к нему:

К Параше
Белокурая Параша
Среброцветна лицом,
Коей мало в свете краше*²
Взором, сердцем и умом.
Ты, которой повторяет
Звучну арфу нежный глас,
Как Палаша ударяет
В струны, утешая нас.
Встань! пойдем на луг широкий,
Мягкий, скатистый³ к прудам,
Там, под сенью древ высокой,
Сядем, взглянем по водам,
Как, скользя по них, сверкает
Луч от царских теремов,

¹ Номер пока не присвоен. О формировании державинского фонда в РО ИРЛИ см.: Бабкин Д. С. Архив Г. Р. Державина в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Академии Наук СССР // Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского Дома. М.; Л., 1952. Вып. 3. С. 71–84.

² Знак в рукописи.

³ В рукописи: ...широкой, мяхой, скатистой...

Звезды в мраке рассыпает
Под кустами меж листов;
Как за серебряной плотицей
Линь золотой по дну бежит,
За прекрасною девицей,
За тобой, амур летит.

Во угождение тех моих приятелей, кои недовольны бывают небогатыми рифмами, должно бы написать:

Как румяна, бела каша
С майским сладким молоком.

Но как я боялся, чтоб на очень сладкую мою Парашу мухи не садились, то и не употребил /сей⁴ богатой рифмы.

Судя по расположению части филиграни в верхней левой части использованного листа, линии отреза должны были проходить слева и сверху от текста. На просвет видна перевернутая верхняя часть буквы Р. Можно предположить, что это часть водяного знака со словами «Pro Patria». Такая филигрань была нередка на бумаге рубежа XVIII–XIX вв., мы часто встречаем ее также на бумаге рукописей Державина. Рукопись выполнена орешковыми чернилами. Справа и слева от заглавия находятся карандашные пометы. Их почерк заметно отличается от почерка чернильной части. Справа от заголовка надпись «Ч. III, стр. 90». Смысл ее понятен: стихотворение «Параше» расположено на страницах 90–91 III части «Сочинений Державина», вышедшей в 1808 г. Пометы слева от заголовка: арабская цифра «89» и латинская «XLXIV». Латинский номер 44 соответствует номеру стихотворения в отдельном издании «Анакреонтических песен» (1804) и в III части «Сочинений» (1808). Затруднение представляет интерпретация цифры 89, предположительно, она каким-либо образом связана с систематизацией материала коллекции, где хранился рассматриваемый фрагмент и где были сделаны остальные пометы, сходные с ней материалом исполнения (карандаш) и почерком. На оборотной стороне листа текста нет.

Возвращаясь к чернильной части рукописи, естественно задаться вопросом, можно ли отождествить его с почерком Г. Р. Державина. Думается, что такое отождествление возможно, если сравнить этот фрагмент с широко известными установленными образцами почерка Державина рубежа XVIII–XIX вв. из рукописных отделов ИРЛИ и РНБ.

⁴ Позднейшая вставка тем же почерком.

Даже вне зависимости от положительного или отрицательного решения вопроса о принадлежности почерка, обнаружение рукописи актуализирует одну проблему истории текста представленного в ней произведения. Внизу листа читается примечание, сделанное к третьей строке стихотворения. Впервые оно появилось в печати в 1866 г. в III томе «Сочинений Державина»,⁵ издававшихся Я. К. Гротом, где приводятся дополнительные примечания к II тому:

Первоначальный автограф этой пьесы с поправками доставлен нам М. П. Погодиным. Здесь к 3-му стиху сделано поэтом следующее подстрочное примечание:

Рифма советовала написать:

Подрумяненная каша
Как со сладким молоком.

Но как Параша до сладкого не очень охотница и чтоб мухи на нее не налетали, то сия богатая рифма и отставлена, а другой на русском языке нет.

При перебеленных на том же листке стихах это примечание изменено так:

В угождение тех моих приятелей, кои недовольны бывают небогатыми рифмами, должно бы написать:

Как румяна, бела каша
С майским сладким молоком.

Но как я боялся, чтоб на очень сладкую мою Парашу мухи не садились, то и не употребил сей богатой рифмы.

Текст этой заметки Грота, а особенно приводимых в ней примечаний Державина, творчески используется в комментариях к собраниям стихотворений поэта.⁶ Постоянное упоминание «первоначального» автографа вызывает у читателя представление о том, что этот автограф хранится в каком-то определенном месте, что к нему можно обратиться, чтобы восстановить историю работы Державина над черновиком. Однако это представление обманчиво. Среди источников издания «Анакреонтических песен», подготовленного и выпущенного в 1987 г. в серии «Литературные памят-

⁵ Сочинения Державина / С объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1866. Т. 3. С. 737.

⁶ См., напр.: *Державин Г. Р.* 1) Стихотворения / Вступ. ст., подгот. и общ. ред. Д. Д. Благого, примеч. А. В. Западова. Л., 1957. С. 430 (со ссылкой на слова Грота); 2) Анакреонтические песни / Изд. подгот. Г. П. Макогоненко, Г. Н. Ионин, Е. Н. Петрова. М., 1987. С. 425 (без ссылки на Грота); 3) Сочинения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Г. Н. Ионина. СПб., 2002. С. 668 (без ссылки на Грота).

ники», такая рукопись не упоминается. В доступных исследователям частях архива Державина в РНБ и ИРЛИ такой автограф тоже не встречается. Между тем не приходится сомневаться в добросовестности Грота, имевшего его в своем распоряжении. Обнаруженная рукопись отвечает описанию ученого: это беловой автограф с окончательным вариантом примечания.

Текст стихотворения совпадает с опубликованным в «Анакреонтических песнях» (1804) и в «Сочинениях» (1808) за исключением нескольких деталей. Заголовок рукописи «К Параше», тогда как в опубликованных вариантах — «Параше». В рукописи, в отличие от публикаций, стихотворение графически не делится на четверостишия. Перечисляемые ниже варианты отдельных строк, отличающих рукопись от первой публикации, возникли уже на стадии заполнения третьей «зеленой тетради», куда Державин вписывал окончательные варианты анакреонтических стихотворений с 1798 г. и которая хронологически непосредственно предшествовала изданию «Анакреонтических песен» 1804 года.⁷

Строка 12:

Сядем, взглянем по водам... → Сядем, взглянем по струям...

Строки 15 — 16:

Звезды в мраке рассыпает → Звезды, солнцы рассыпает
Под кустами меж листов. → По теньям между кустов.

Вместе с тем имеется одно чтение, совпадающее в рассматриваемой рукописи и в «зеленой тетради», но измененное при первой публикации. Это строка 11:

Там, под сенью древ высокой... → Там, под сенью древ далекой...

Перечисленные варианты позволяют предположить, что «рукопись Погодина» содержит текст, предшествовавший варианту, отразившемуся в наиболее ранней известной до сих пор рукописи: в третьей «зеленой тетради».

Дальнейшие рассуждения ведут все дальше по пути гипотез и допущений. Поскольку Грот упоминает о совместном существовании на одном листе черновика и беловика стихотворения в рукописи, доставленной ему Погодиным, то придется предположить либо наличие второй авторской копии беловика, либо разделение листа на часть с черновиком и часть с бе-

⁷ О месте третьей «зеленой тетради» в истории текстов державинской анакреонтики см.: *Ионин Г. Н.* Творческая история «Анакреонтических песен» // Державин Г. Р. Анакреонтические песни... С. 324–326.

ловиком. В пользу второго говорит расположение текста в нижней правой части листа, то есть логически последней подлежащей заполнению.

Оставаясь в области фактов, следует отметить, что рассмотренная рукопись позволяет документально подтвердить часть истории текста «Анакреонтических песен» Державина, до этого долгое время опиравшуюся на вторичное свидетельство. Не исключено, что дальнейший поиск позволит найти дополнительные сведения о том, каким образом этот лист оказался у Погодина и где находился до того.

А. Т. БОЛОТОВ И Н. М. КАРАМЗИН О ЗАДАЧАХ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

В научной литературе неоднократно отмечалось, что элементы критического анализа литературных произведений, от простой фиксации впечатления до подробного критического разбора, с конца 1750-х — начала 1760-х гг. развивались в мемуарных и эпистолярных произведениях, часто не предназначавшихся для печати.¹ С начала 1770-х гг. литературная критика занимает свое место в журналах: «Платформой выяснения разногласий между писателями становится в эти годы периодическая печать, а арбитром в разрешении споров невольно оказывался массовый читатель».² К концу этого десятилетия практика критических разборов отдельных произведений превращается в постоянную, и в 1790-х гг. жанр рецензии постепенно оформляется в «Московском журнале», издававшемся Н. М. Карамзиным.³

¹ Подробнее об этих процессах см.: *Бухаркин П. Е.* Письма русских писателей XVIII века и развитие прозы (1740–1780-е годы): Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1982; *Лазарчук Р. М.* Дружеское письмо второй половины XVIII в. как явление литературы: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1972; *Макогоненко Г. П.* Письма русских писателей XVIII века и литературный процесс // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 3–42; *Очерки истории русской литературной критики.* СПб., 1999. Т. 1. XVIII — первая четверть XIX в.; *Токарева Г. В.* Русская автобиографическая литература в общественно-культурном контексте. Конец XVIII — начало XIX вв.: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985 и др.

² *Стенник Ю. В.* Новые веяния критической мысли (Конец 1770-х — начало 1780-х годов) // *Очерки истории русской литературной критики.* СПб., 1999. Т. 1. XVIII — первая четверть XIX в. С. 95.

³ Подробнее см.: *Берков П. Н.* Развитие литературной критики в XVIII веке // *История русской критики.* М.; Л., 1958. Т. 1. С. 110–115; *Брикман М. А.* Критическая

На фоне традиции частного обсуждения литературных произведений, с одной стороны, и зарождения жанра журнальной рецензии, с другой, попытка целенаправленного и всестороннего разбора целого ряда произведений определенного жанра, предпринятая А. Т. Болотовым, все же представляется беспрецедентной. Сборник «Мысли и беспристрастные суждения о романах...» (1791) состоит из 50 статей и является первой частью двухтомного собрания критических обзоров, которые Болотов писал с начала 1760-х гг.⁴ Второй том, также включавший в себя 50 статей, не сохранился. Четыре рецензии в сборнике посвящены русским романам, остальные — переводным, вышедшим на русском языке в период с 1760 по 1791 г. (4 из рецензируемых произведений переведены с немецкого, по одному с итальянского и испанского, а остальные с французского языков). Несмотря на то, что сборник этот так и не стал достоянием современной его автору общественности, он обязательно учитывается при изучении русской литературной критики.⁵

В «Предуведомлении» к сборнику Болотов пишет, что объединил в нем статьи разных лет: «...вздумалось мне, всякий раз, когда не случится читать какой роман, делать об них помянутые замечания, все нужное о каждом для себя записывать. А из сих записочек, пособравши оных и составила сия книжка».⁶ Это традиционный для Болотова метод работы —

библиография в «Московском журнале» Н. М. Карамзина // Книга. Исследования и материалы. 23. М., 1972. С. 211–217; *Кочеткова Н. Д.* Критика 1780–1790-х годов. Сентиментализм // Очерки истории русской литературной критики. С. 120–150.

⁴ *Болотов А. Т.* Мысли и беспристрастные суждения о романах как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков Андрея Болотова // РО ИРЛИ. Ф. 537. Ед. хр. 14. 173 л. Частично опубликовано: Из неизданного литературного наследия Болотова / Публикация А. Кучерова, И. Морозова // Литературное наследство. М., 1933. Т. 9–10. С. 153–222.

⁵ О Болотове читателе и критике в связи со сборником «Мысли ... о романах...» см.: *Глаголева О. Е.* А. Т. Болотов как читатель // Рукописная и печатная книга в России: Проблемы создания и распространения. Л., 1988. С. 140–158; *Демиховский А. К.* Литературное творчество А. Т. Болотова 80–90 годов XVIII века (К проблеме формирования литературно-эстетических исканий): Дис. ... канд. филол. наук. Коломна, 2002. С. 35–37; *Петрушкова В. В.* Критика в поисках предмета // Проблемы развития литературной критики. Душанбе, 1984. С. 3–8; *Rice J. L.* The Bolotov Papers and A. T. Bolotov, Himself // The Russian Review. 1976. № 35, Spring, P. 125–154; *Schmücker A. A.* T. Bolotov als Leser // Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas herausgegeben von Hans-Bernd Harder und Peter Schreiber. Gessen, 1977. Bd 14. S. 342–355. К сожалению, некоторые из этих исследований опираются только на 13 статей, опубликованных в «Литературном наследстве».

⁶ Из неизданного литературного наследия Болотова. С. 194.

сначала он записывал свои мысли по самым различным поводам в хронологической последовательности, затем перераспределял эти заметки по тематике. В мемуарах за 1791 г., говоря о своем желании заняться критическими разборами, Болотов отмечает, что он собирался писать «критику особого рода, а не такую, какая иными пишется, но полезнейшую». ⁷ Болотов заказывал книги по почте, в частности, ориентируясь на объявления в «Московских ведомостях» и «Санкт-Петербургском вестнике» (порядок рецензируемых Болотовым книг часто совпадает с последовательностью этих объявлений), ⁸ поэтому в первую очередь упрек «иным» может быть отнесен к рецензиям этих изданий. Болотовские разборы несравненно более обширные, при этом сопоставление рецензий показывает, что оценка Болотова почти никогда не совпадает с мнением автора объявлений. «Московские ведомости» упоминаются Болотовым и в статье «О выдаваемых книгах и объявлениях об оных и злоупотреблениях при том бывших» (1795), ⁹ посвященной литературной критике в России, точнее, ее отсутствию: «Объявления о вновь выходящих книгах продолжаемы были и в сей год припечатываться при Московских Ведомостях; но ценения оных с стороны критики не было еще у нас и поныне, хотя бы уже и давно время было ученым нашим о том подумать и для пользы отечества постараться». ¹⁰ Отметим, что в 1795 г., когда была написана эта статья, уже выходило несколько периодических изданий, регулярно рецензировавших художественные произведения. Это дает основания полагать, что существовавшая в России на тот момент литературная критика Болотова не удовлетворяла.

Вероятно, не случайным является и тот факт, что Болотов начинает собирать под общей обложкой свои критические статьи за последние 30 лет именно летом 1791 г., т. е. тогда, когда уже полгода выходит «Московский журнал», который Болотов выписывал и внимательно читал. ¹¹ Это совпа-

⁷ Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. СПб., 1873. Т. 4. Стб. 799.

⁸ См.: Санкт-Петербургский вестник. 1779. Ч. 4. Нояб. С. 373–374 (2); 1780. Ч. 5. Апр. С. 309–314 (38, 45); Московские ведомости. 1781. № 64. С. 511 (6, 11, 37); 1781. № 80. С. 639 (13); 1782. № 8. С. 63 (14), № 46. С. 368 (16), № 59. С. 472 (31); 1783. № 4. С. 31 (17). В скобках указаны номера рецензий из сборника Болотова на те же произведения.

⁹ Болотов А. Т. Современник, или записки для потомства // Губерти Н. В. Историко-литературные и библиографические материалы. СПб., 1887. С. 19–32.

¹⁰ Там же. С. 27.

¹¹ О периодике в библиотеке Болотова см.: Глаголева О. Е. Библиотека А. Т. Болотова // Книга в России XVI — середины XIX века: книгораспространение, библиотеки, читатель. Л., 1987. С. 79–95.

дение уже было отмечено в научной литературе. Карамзин тоже мотивировал свое желание писать критические разборы тем, что до сих пор в России не существует настоящей литературной критики, о чем он заявил в объявлении об издании «Московского журнала»: «Кто не признается, что до сего времени весьма немногие книги были у нас надлежащим образом критикованы». ¹² Н. Д. Кочеткова отметила общее в позициях Карамзина и Болотова: оба делают акцент на сентиментальной «трогательности» произведений, ¹³ оба ценят «натуральность» и во главу угла ставят понятие «пользы», но уже без «прямолинейного дидактизма». В итоге исследовательница приходит к заключению о «влиянии» и «воздействии» «Московского журнала» на позицию Болотова-критика. ¹⁴ При всей справедливости этого вывода, он требует некоторого развития, так как представляется, что этих двух авторов связывает не только притяжение, но и отталкивание.

В первую очередь здесь следует сказать несколько слов об отношении Болотова к Карамзину. В начале 1790-х гг. Болотов достаточно высоко ценил писательский талант Карамзина. Об этом свидетельствует ряд статей, датированных 1794–1795 гг. и посвященных Карамзину и его произведениям. В этих статьях Болотов называет Карамзина «новый наш, но любимый всеми сочинитель», ¹⁵ и утверждает, что Карамзин «многих переучил хорошему и приятному слогу, и произвел многих себе подражателей». ¹⁶ Авторитет Карамзина для Болотова столь велик, что рецензия на книгу И. И. Дмитриева «И мои безделки» начинается со слов: «Господин Дмитриев, человек уже не молодой, но наилучший друг Г. Карамзина». ¹⁷ Но, отдавая дань литературному дарованию молодого автора, Болотов, который был старше Карамзина почти на 30 лет, часто выражает сомнение в его нравственной стойкости, а некоторые произведения, в частности, «Остров Борногольш», рассматривает как ошибки молодости: «...молодой и милый сей сочинитель, при всех совершенствах слога своего, имел за собою тот порок, что делал иногда излишние шаги за пределами строгой благопристойности, и особливо в сценах до любострастия относящихся; почему и желательно было, чтоб он и от сего несколько повоздержался, также как

¹² Московские ведомости. 1791. № 89.

¹³ О сентиментализме и «геснеризме» Карамзина и Болотова см. также: *Демиховский А. К.* Литературное творчество А. Т. Болотова 80–90 годов XVIII века. С. 92–93.

¹⁴ *Кочеткова Н. Д.* Критика 1780–1790-х годов. Сентиментализм // *Очерки истории русской литературной критики.* С. 142–144.

¹⁵ *Болотов А. Т.* Современник... С. 23.

¹⁶ Там же. С. 31.

¹⁷ Там же. С. 32.

сколь от излишней привязанности к пагубной нынешней, и весь свет с ума сводящей вольности, чему многие черты оказал он еще в своем „Московском журнале“». ¹⁸ В целом, цитированная статья, посвященная альманаху «Аглая», выдержана в несколько ироническом тоне, позднее же, в письмах сыну в 1808 г., Болотов прямо называет «Аглаю» «сущей дребеденью» ¹⁹ и даже «древендью, дребеденью погоняемой». ²⁰ Болотову также принадлежит статья «О замолчании Господина Карамзина и о возгоржении», где анализируются причины снижения творческой активности Карамзина: «Носилась молва, что его испортила наша старушка Москва, своими непомерными похвалами /.../ А сие его возгордило, и может быть даже до непомерности /.../ Другие приписывали молчание его любовным связям, в каких будто он находился, живучи в деревне». ²¹

Таким образом, в сознании Болотова Карамзин является человеком несомненно талантливым, но молодым и морально неустойчивым. Вероятно, и книжные рецензии человека, по поводу которого «все оставалось еще великое сомнение о его мыслях в рассуждении религии и закона», ²² не вызывали у Болотова доверия.

В то же время дело здесь не только в репутации «г. Карамзина», но и в гораздо более глубоком противоречии в понимании задач литературной критики этими двумя авторами. Болотов полагает, что современный ему читатель нуждается именно в рекомендациях по выбору книг, в том числе для того, чтобы избежать «терiania денег по пустому». ²³ В цитированной выше статье «О выдаваемых книгах...». Болотов пишет о необходимости, в условиях существования частных типографий и активного распространения книжной продукции, создания «так называемой критической библиотеки» или справочника для читателя: «...и если б по примеру иностранных была б такая книга, в которой бы достоинство всех книг прямо и беспристрастно было изображено, и каждой придана нелицемерная цена; или хотя б издаваем был всем издаваемым вновь книгам журнал, с приобщением беспристрастной об них и хотя б самой короткой критики, то не только все заводящие у себя библиотеки вновь, но и прочие охотники

¹⁸ Болотов А. Т. Современник... С. 23.

¹⁹ Болотов А. Т. Письма к П. А. Болотову // РО РНБ. Ф. 89. № 107. Л. 3.

²⁰ Там же. Л. 10 об.

²¹ Болотов А. Т. Современник... С. 31.

²² Там же. С. 23.

²³ Там же. С. 27. Подробнее о Болотове в контексте зарождения в России критической библиографии см.: *Здобнов Н. В.* История русской библиографии с древнейшего периода до начала XX века / Под ред. Н. К. Леликовой, М. П. Лепехина. М., 2012. С. 84–85.

до книг и всякой год их покупающие, могли бы с тем соображаться и избавлять себя от покупки негодных книг и сочинений...».²⁴ Образцом для Болотова в данном случае могли послужить немецкие сборники книжных рецензий, с которыми он познакомился еще во время службы в Кёнигсберге в 1759 г. В своих мемуарах Болотов приводит слова одного знакомого ему немца: «В числе продажных книг есть некоторые особливые книжки, содержащие в себе советы для молодых людей, желающих заводить библиотеки, в которых сообщается краткая и разумная критика о книгах всякого рода, и предлагаются советы, какие бы из какого класса лучше избирать и каких, напротив того, обегать должно».²⁵ Подобные издания, которыми сам Болотов пользовался в Восточной Пруссии, вероятно, и послужили для него образцом (который пока не удалось точно установить).

В предисловии к сборнику «Мысли о романах» Болотов так объясняет стоявшие перед ним задачи: «Романов, изданных в сии последние времена на нашем российском языке уже так много, и разность между ними в рассуждении качества и доброты их так велика, что почти необходимая уже надобность есть при покупке и чтении оных делать благоразумный выбор, а не все то покупать и читать, что в руки попадет».²⁶ Критика Болотова рассчитана на массового читателя и касается произведений только одного жанра — романов. Исходя из представлений о том, что роман представляет собой произведение, в котором нравоучение подается в развлекательной форме, Болотов выбирает этот жанр, потому что, с одной стороны, он достаточно демократичен и доступен даже не очень образованному читателю, с другой — таит в себе опасность и может пагубно воздействовать на молодого и неопытного человека.²⁷ Именно такой жанр нуждается в «путеводителе», который Болотов стремился составить. Приступая к этой работе, Болотов очевидно рассчитывал на некий, хотя и не очень широкий круг читателей. К 1791 г. несколько его больших произведений уже были опубликованы, и сама возможность печататься не казалась ему исключительной.²⁸ Кроме того, его рукописные тома, которые он переплетал и

²⁴ Болотов А. Т. Современник... С. 27.

²⁵ Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова... СПб., 1871. Т. 1. Стб. 818.

²⁶ Из неизданного литературного наследия Болотова. С. 194.

²⁷ О спорах вокруг жанра романа в русской критике и литературе XVIII в. см.: Стенник Ю. В. Новые веяния критической мысли (Конец 1770-х — начало 1780-х годов) // Очерки истории русской литературной критики. С. 99–109.

²⁸ К этому моменту у Болотова вышли три книги философского характера («Детская философия» 1776, «Чувствования истинного христианина» 1781, «Путеводитель к истинному человеческому счастью» 1784), одна пьеса («Несчастные сироты» 1781) и несколько переводов, и это не считая агрономических сочинений и двух хозяйственных журналов, которые Болотов издавал.

оформлял как книги, имели определенное хождение. Судя по болотовским мемуарам, а также по воспоминаниям его близких, он охотно давал читать и дарил свои рукописные книги, а также сам часто читал их гостям. Таким образом, у Болотова был свой читатель, на которого он ориентировался. Но в его задачу не входило воспитание этого читателя, развитие в нем вкуса, умения читать. Болотов адресуется «готовому читателю», имеющему определенные ожидания, по сути такому же, как он сам. Поэтому он не выбирает книги для рецензий, а рецензирует все подряд. Его задача не столько сформировать круг чтения, выбрав для рецензирования наиболее достойные образцы, сколько дать оценку всем имеющимся книгам, предоставив читателю право последнего выбора.

Исходя из установки на рецензирование всех попадавшихся ему романов, Болотов стремился к тому, чтобы выработать единые критерии оценки и разбирать все произведения по единому плану (в некоторых рецензиях отдельные аспекты могли быть опущены). План этот можно реконструировать по одной из наиболее подробных рецензий — статье, посвященной роману П. Ю. Львова «Российская Памела» (1789). Говоря о произведении Львова, Болотов прежде всего оценивает «план», то есть сюжет романа, из чего делает заключение о его «цели», которая может быть нравственная или безнравственная (во втором случае книга может быть рекомендована для чтения только искушенным и нравственно стойким людям). Далее Болотов приступает к анализу «выработки плана»: соотношения сюжета и фабулы, разработки характеров, затем слога (в случае с переводными изданиями — качества перевода), и, наконец, ряда мелких деталей, таких как имена героев и топонимы. Завершает Болотов свою рецензию общим выводом морализаторско-рекомендательного характера, например: «...книга сия, хотя и может быть причислена к числу хороших, но по недостатку наших оригинальных русских романов ... уже довольно изрядна и ей можно уже где-нибудь дать местечко в библиотеках наших».²⁹

Как уже было отмечено исследователями, особое внимание Болотов уделяет возможной «пользе» от книг. Это слово и его производные звучат почти в каждой рецензии. «Полезность» в его понимании существует двух видов: нравственный урок и содержащиеся в книге сведения исторического, географического и прочего характера. Поэтому Болотов весьма резко отозвался о романе М. М. Хераскова «Полидор» (1792), уличив «оскудевающего писателя» в «географических погрешностях».³⁰ Польза в трактовке Болотова всегда перевешивает остальные недостатки произведения.

²⁹ Из неизданного литературного наследия Болотова. С. 217.

³⁰ Болотов А. Т. Современник... С. 22.

В 1808 г., в письме своему дальнему родственнику, писателю и историку Н. С. Арцыбышеву, Болотов, реагируя на рецензию на книгу Арцыбышева в «Вестнике Европы»,³¹ писал о литературной критике современных ему журналов: «Чем бы иметь главнейшей целью самое содержание книги, просматривая судить, полезно ли оное или почему-нибудь вредно, или может быть таковым, они не столько пекутся о сем, как о вышаривании всяких ничего не значущих безделушек, и тем не производя ни малейшей пользы, легко могут только оскорблять и даже прогонять у многих охоту к занятию себя сочинениями всякого рода», и заключал свои рассуждения выводом о том, что «критике слова» он предпочитает «критику дела».³² В письмах сыну 1810–1811 гг. Болотов несколько раз «с досадой» упоминает «скучные, надоевшие критические пьесы»³³ и «сумасбродную критику»³⁴ «Вестника Европы».

Позиция Карамзина принципиально иная.³⁵ В его критических статьях сам по себе выбор произведения для рецензирования уже является критическим приемом. Выбор этот подчинен эстетической программе Карамзина, направленной на утверждение в литературе нового направления. Но Карамзин не только высказывает свою точку зрения на анализируемый текст, но и учит его правильно читать, акцентирует внимание на важных моментах. Поэтому для каждого автора Карамзин выбирает свой подход: в одних рецензиях больше внимания уделяется содержанию, в других —

³¹ [Каченовский М. Т.] О первобытной России и ея жителях. Сочинение Николая Арцыбышева, члена С.-Петербургского общества любителей словесности, наук и художеств // Вестник Европы. 1809. Ч. 48. № 24 (дек.). С. 326–331.

³² Болотов А. Т. Переписка двух родственников, живущих в отдалении и не знающих друг друга лично. 1808–1809 гг. // РО БАН. Ф. 69. Ед. хр. 12. Л. 57 об.–58. См. также: Толмачев А. Л. Переписка А. Т. Болотова и Н. С. Арцыбышева // Вестник архивиста. 2002. № 2 (68). С. 167–221

³³ Болотов А. Т. Письма к П. А. Болотову 1810–11 гг. // РО ИРЛИ. Ф. 537. Ед. хр. 34. Л. 118. Речь идет о рецензии В. А. Жуковского на трагедию Кребиллона и, возможно, несколько театральных отзывов (Вестник Европы. 1810. № 22).

³⁴ Там же. Л. 233. Имеется в виду полемика В. А. Жуковского и А. Ф. Воейкова по поводу трагедии Грузинцева «Электра и Орест» (Вестник Европ. 1811. № 9).

³⁵ Литературно-критические воззрения Карамзина достаточно хорошо изучены, им посвящена многочисленная научная литература, поэтому в данной статье будут лишь обобщены выводы, сделанные исследователями ранее. Помимо указанных выше работ, см. также: Мордовченко Н. И. Карамзин и его роль в развитии русской критики // Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX в. М.; Л., 1959. С. 17–56; Березина В. Г. Карамзин-журналист // Проблемы журналистики. Л., 1973. Вып. 1. С. 98–114; Куляпин А. И. Жанрово-стилевая природа критики Н. М. Карамзина // Проблемы метода и жанра. Томск, 1989. Вып. 15. С. 58–70 и т. д.

психологическим характеристикам героев, в третьих — стилю, т. е. тому, что выгодно отличает данное произведение, делает его достойным внимания. Карамзин формирует своего читателя, для которого основным критерием оценки литературного произведения должен стать вкус. Болотов ориентируется на читателя уже существующего, а понятие вкуса у него часто подменяется жанровым ожиданием, в соответствии с которым оценивается текст. Возможно, этим объясняется и тот факт, что Карамзин уделяет много внимания преимущественно вопросам стиля, тогда как Болотов говорит о «слоге» в последнюю очередь.

Различие в позициях двух критиков состоит еще и в том, что созидательная критика Карамзина адресована не только читателю. Подробно анализируя механизм творчества, останавливаясь на деталях и приводя примеры, он обращает свои критические статьи к авторам едва ли не больше, чем к читателям. Дальнейшее движение Карамзина в этом направлении привело к созданию теоретических статей, само название которых говорит об их адресате («Что нужно автору?» 1803, «Почему в России мало авторских талантов?» 1804).

Болотов же создает руководство для читателя, причем читателя малоискушенного в красотах слога, но увлекающегося интересными событиями и живой интригой. Нельзя сказать, что Болотов совсем не признает воздействие критики на автора. Но понимает он это воздействие узко прагматически. В частности, Болотов писал, что развитие критики: «...произвело бы вкупе и самой литературе нашей ту великую пользу, что она стала бы час от часу лучше поправляться и процветать, ибо в сем случае на всех худых сочинителей, а того паче на корыстолюбивых издателей положена была узда...».³⁶ Не наделяя критику воспитательно-образовательной функцией, Болотов по существу отводит ей роль цензуры в широком смысле этого слова.

Сравнение критических установок Болотова и Карамзина демонстрируют сосуществование в России в конце XVIII в. двух почти полярных взглядов на назначение литературной критики, которым соответствовали свои методы и приемы. Карамзин рассматривает критику как средство создания новой литературной культуры с помощью воспитания двух ее составляющих: автора и читателя. Болотов же ориентируется на потребности массового читателя, нуждающегося в рекомендательной библиографии. И, несмотря на несопоставимость дарований двух авторов и степени их воздействия на последующую литературно-критическую традицию, эти две тенденции, не отменяющие, а дополняющие друг друга, все же следует рассматривать в комплексе.

³⁶ Болотов А. Т. Современник... С. 27.

**О ВОЗМОЖНОМ ИСТОЧНИКЕ
«ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ»:
АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ И ФРАНСУА ВЕРН**

Главным литературным ориентиром при создании Радищевым «Путешествия из Петербурга в Москву» принято считать «Сентиментальное путешествие» Стерна. Сам писатель во время следствия назвал травелог Стерна важнейшим источником своего вдохновения.¹ Признание всеми исследователями его значения мешало предположить возможность влияния других травелогов на «Путешествие». Об одном таком возможном источнике и пойдет речь в данной статье.

В главе «Клин» радищевский путешественник встречается со слепым певцом и, послушав его песню, дает ему милостыню. С точки зрения структуры повествования, этот эпизод можно разбить на три части: 1) сначала описывается реакция слепого на чересчур щедрую милостыню путешественника; 2) затем появляется женский персонаж, который приносит слепому пирог. Слепой радуется больше пирогу, чем полученному только что рублю, объясняя путешественнику, почему женщина его регулярно угощает пирогами; 3) в конце встречи путешественник, не желая уйти, ничего не оставив слепому, дарит ему по его просьбе платок. За эпизодом следует краткий эпилог, в котором рассказывается, как путешественник узнал о смерти слепого по дороге обратно в Петербург. Он делится с читателем своими чувствами по поводу того, что слепого похоронили с его платком.

В обширной научной литературе, посвященной «Путешествию», главе «Клин» уделялось немного внимания, возможно, потому, что в ней не осуждается крепостное право. Между тем и в ней пытались усмотреть общий

¹ *Бабкин Д. С. Процесс А. Н. Радищева. М.; Л., 1952. С. 167.*

для радищевского текста радикальный пафос.² Согласиться с этим мешает, помимо прочего, нейтральная реакция на главу императрицы Екатерины II. О «Клине» она отзывалась лаконично, написав на полях своего экземпляра книги всего лишь: «От 401 по 409 повесть о слепом, которому подарил платок».³ Как было отмечено исследователями, именно безобидность главы помогла ее отдельной публикации в «Русском Вестнике» в 1805 году. В 1809 году глава была переиздана в сборнике подчеркнуто консервативного толка «Анекдоты русские».⁴

Недостаток внимания к главе «Клин», в свою очередь, объясняет малочисленность комментариев, посвященных выяснению ее интертекстуальных источников. Среди попыток установить происхождение мотивов эпизода встречи со слепым выделяются комментарии Д. М. Ланга, В. П. Семенникова, А. Н. Веселовского и Г. П. Макогоненко. Все четыре исследователя сопоставили отдельные мотивы этого эпизода с мотивами из «Сентиментального путешествия» Стерна.

Ланг сравнил с «Клином» главу «Благодарственная молитва» из путешествия Стерна, в которой старый крестьянин призывает родных поплясать после ужина в знак благодарности Богу за хорошую жизнь.⁵ При этом единственным общим элементом двух травелогов оказывается присутствие мотива народной музыки. Между тем у Стерна она выражает радость, тогда как у Радищева звучит в грустном контексте. Наконец, у Стерна упоминание народной музыки не приводит к ее сопоставлению с высокой музыкой, как и у Радищева. Семенников увидел сходство между отказом радищевского слепого принять рубль и робостью «*Le pauvre honteux*», одного из нищих главы «Монтрей», который боится просить у Йорика милостыню.⁶ Однако у Радищева элемент стыда полностью отсутствует в поведении слепого, тогда как у Стерна им объясняется робость нищего. Согласно Веселовскому, дар платка слепому нищему у Радищева напоминает дар табакерки бедному монаху в главе «Табакерка. Кале» стерновского «Путешествия». К этому он добавляет, что оба путешественника узнают на

² *Гуковский Г. А.* Радищев как писатель // А. Н. Радищев. Материалы и исследование. М.; Л., 1936. С. 173; *Степанов В. П.* Неизвестная публикация главы «Клин» («Путешествие из Петербурга в Москву») в «Анекдотах русских» (1809) // XVIII век. М.; Л., 1959. Сб. 4. С. 432; *Макогоненко Г. П.* Радищев и его время. М., 1956. С. 467.

³ Цит. по: *Бабкин Д. С.* Процесс Радищева... С. 164.

⁴ *Степанов В. П.* Неизвестная публикация... С. 428–429.

⁵ *Lang D. M.* Sterne and Radishchev. An Episode in Russian Sentimentalism // *Revue de littérature comparée*. 1947. № 21. P. 258.

⁶ *Семенников В. П.* Радищев. Очерки и исследования. М.; Пг., 1923. С. 444.

обратном пути о кончине человека, получившего от них дар.⁷ Если последний мотив с точностью повторяется в обоих травелогах, первый у русского и английского писателей различается. Дело не столько в разности даров, сколько в несходстве персонажей, которые их получают. У Радищева дар получает нищий, а у Стерна — монах, собирающий милостыню для нищих. В первом случае нищего и путешественника разделяет социальная и эмоциональная дистанция. Нищий не «чувствует» вместе с путешественником, а становится объектом его чувствований. Он не принадлежит к эмоциональному сообществу «чувствительных людей».⁸ Монах же, как и стерновский путешественник, — духовное лицо; происходит обмен дарами, подчеркивающий социальное и эмоциональное равенство дарителей. Сопоставляя, вслед за Веселовским, встречу радищевского путешественника со слепым и встречу Йорика с монахом, Макогоненко сосредоточился на том, как идеологически переосмысливается этот мотив у Радищева. По мнению Макогоненко, замена рубля платком и следующее за этим согласие слепого принять милостыню у путешественника-дворянина метафорически означают преодоление радищевским путешественником классового барьера.⁹

Помимо этих попыток сблизить русский текст с «Сентиментальным путешествием» Стерна, следует упомянуть работы И. А. Матковской, М. К. Азадовского и Е. Д. Кукушкиной. Развивая, вслед за В. А. Западовым, замечание А. С. Пушкина об упоминании Вертера радищевским путешественником в главе «Клин», И. А. Матковская заинтересовалась гетевским происхождением мотива погребения с платком.¹⁰ Что касается М. К. Азадовского, то он провел сопоставительный анализ стиля описания певца с оссианической традицией.¹¹ Наконец, Е. Д. Кукушкина увидела в «Клине» реминисценцию из Евангелия. Отказ слепого от рубля, поданного путеше-

⁷ Веселовский А. Н. Западное влияние в новой русской литературе. 3-е изд., перераб. СПб., 1916. С. 103.

⁸ О понятии «эмоционального сообщества» см. *Rosenwein B. Emotional Communities in the early Middle Ages*. New York: Ithaca, 2006.

⁹ *Makogonenko G. P. Aleksandr Radishchev and Laurence Sterne // Great Britain and Russia in the Eighteenth Century: Contacts and Comparisons*. Newtonville, 1979. P. 91–92.

¹⁰ Матковская И. А. Радищев и Гете (к проблеме восприятия «Вертера») // Гетевские чтения. М., 1999. С. 154. О замечании Пушкина (*Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 258*) см. комментарий В. А. Западова: *Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 493–494*. О гетевской реминисценции в «Клине» см также: *Костин А. А. Радищев как фольклорист // XVIII век. СПб., 2013. Вып. 27 [в печати]*.

¹¹ *Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1958. С. 99.*

ственником, и его согласие взять пирог у пожилой крестьянки напоминают притчу о лепте вдовы (Лук.: 21, 34) и помогают Радищеву развить идею подлинной милостыни, не омраченной тщеславием.¹²

Однако этими сопоставлениями источники главы «Клин», как мне кажется, не исчерпываются. Остается, например, нераскрытым происхождение мотивов слепоты, присутствия грустной — а не веселой, как у Стерна — музыки, материальной неадекватности подаяния, упоминания причин, побуждающих пожилую крестьянку помогать слепому, и дарение путешественником платка слепому. Все эти мотивы присутствуют в подражании «Сентиментальному путешествию» женева Франсуа Верна — «Сентиментальный путешественник» («*Le voyageur sentimental, ou ma promenade à Yverdon*», 1786).

Забытый в наши дни Франсуа Верн родился 10 января 1765 года в деревушке Селини, недалеко от Женевы.¹³ Его отцом был Якоб Верн (Jacob Vernes, 1728–1791), известный пастор и богослов, одно время он был дружен с Вольтером и Руссо, пока не рассорился с ними обоими.¹⁴ Франсуа Верн прожил два года в Брюсселе (1784–1785), где он «по настоянию отца без особого желания попытался начать карьеру коммерсанта»,¹⁵ затем, в 1786 году провел несколько месяцев в Париже, где был главным образом занят публикацией своих первых литературных произведений. В 1787 году он возвращается в Женеву, где продолжает писать, а после Женевской революции 1792 года отдается политической деятельности.¹⁶ Франсуа Верн умер 6 апреля 1834 года в Версуа, недалеко от Женевы.

Как писатель Франсуа Верн был плодовит, но не отличался особой оригинальностью. Среди его многочисленных произведений именно травелог принес ему известность. Как заметил Р. Бриссенден, его книга «не осталась незамеченной».¹⁷ В январском номере за 1787 год парижского ежемесячного обзора публикаций «*L'esprit des journaux*», анонимный критик писал: «Это очаровательное сочинение, очень изящно изданное, вполне

¹² Кукушкина Е. Д. Библейские мотивы у А. Н. Радищева // Русская литература. 2000. № 1. С. 123.

¹³ Galiffe J. A. Notices généalogiques sur les familles genevoises depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Genève, 1976. Vol. IV. P. 370.

¹⁴ Montet A., de. Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois. Lausanne, 1878. P. 606.

¹⁵ Denby D. J. Sentimental Narrative and the Social Order in France, 1760–1820. Cambridge, 1994. P. 42.

¹⁶ Ibid. P. 43.

¹⁷ Brissenden R. F. Virtue in Distress. Studies in the Novel of Sentiment from Richardson to Sade. London, 1974. P. 9.

заслужило восторженные похвалы, полученные им во многих журналах» («Ce charmant ouvrage, très joliment imprimé, mérite les brillants éloges que plusieurs journalistes lui ont donnés»).¹⁸

Успех книги вполне очевидно объяснялся приверженностью автора стернианству, что и подметил автор рецензии, так охарактеризовав один из отрывков: «Это совершенно в духе Стерна» («Ceci est tout-à-fait à la Sterne»).¹⁹ Другой журнал, «l'Année littéraire», опубликовал письмо анонимного поклонника Верна, который с энтузиазмом заявлял: «Я полагал, что Стерн давно уже оставил этот мир, но с изумлением увидел теперь, что он все еще жив» («Je croyais Sterne mort depuis longtemps, je vois à mon grand étonnement qu'il vit encore»).²⁰ Желая воспользоваться славой своего кумира, Верн воспроизвел эту цитату во втором издании своей книги, вышедшем всего через несколько месяцев после первого.²¹

Благодаря популярности стернианства книга Верна переиздавалась несколько раз: после первого издания в Невшателе в 1786 г. она была опубликована в Лондоне (также в 1786 г.), затем вновь в Невшателе в 1787 г. и в Париже в 1792 и 1825 годах.²² Эрнест Гидей даже упоминает издания, вышедшие в Дрездене и Брюсселе.²³ Книга была переведена на несколько иностранных языков и опубликована за границей, так, в 1789 г. в Англии под названием «Louis and Nina, or the Excursion to Yverdon»²⁴ и в том же году в Испании под названием «El viajador sensible, o mi paseo a Yverdún» в переводе офицера по имени Бернардо Мария де ла Кальзада.²⁵

Итак, во второй половине 1780-х гг. женевский писатель и его произведение уже были достаточно известными в Европе среди знатоков современной литературы, о чем можно судить по письму из Женевы (№ 83) «Писем русского путешественника». В нем путешественник пишет своим условным адресатам: «На сих же днях узнал я и молодого Верна. Вам

¹⁸ L'esprit des journaux françois et étrangers par une société de gens de lettres. Paris, 1787. T. I. Seizième année. Janvier. P. 92.

¹⁹ Ibid. P. 101.

²⁰ L'année littéraire. 1786. T. 7. Цит. по: *Giddey E.* Un disciple suisse de Laurence Sterne: François Vernes // *Revue historique vaudoise.* 1964. Vol. 72. Décembre. P. 207–208.

²¹ Ibid. P. 208.

²² *Krief H.* Emergence du «voyage sentimental» au XVIII^e siècle: Sterne et ses héritiers // *Les genres littéraires émergents.* Paris, 2005. P. 146.

²³ *Giddey E.* Un disciple suisse... P. 201.

²⁴ *Brissenden R. F.* Virtue in Distress... P. 4.

²⁵ *Pérez Rodríguez E. M.* Laurence Sterne, François Vernes y Bernardo María de la Calzada: el periplo del «Viajador sensible» por Europa a finales del siglo XVIII // *Cuadernos de estudios del siglo XVIII.* 2002–2003. № 12–13. P. 117–135.

известны его Франциада и *Voyageur sentimental*, в которых много хорошего и трогательного».²⁶

Предположение карамзинского путешественника о знакомстве его адресатов с произведением Верна свидетельствует о том, что «Сентиментального путешественника» читали и в России.²⁷ Видимо, среди русских читателей Верна был и Радищев. В пользу этой гипотезы говорят два факта. Во-первых, как показывают и вышеупомянутые отзывы из прессы, и история первых публикаций «Сентиментального путешественника», книга Верна пользовалась особой популярностью именно в те годы, когда Радищев активно работал над путешествием, то есть в 1787–1788 годах.²⁸ Во-вторых, и это главное, при сопоставлении обоих текстов обнаруживается сходство мотивов «Клина» с мотивами «Сентиментального путешественника».

Центральный для радищевского эпизода мотив слепоты присутствует у Верна. В главе «Слепой и его дочь» («L'aveugle et sa fille»; III, 9),²⁹ путешественник встречается со слепым старцем, для которого дочь просит милостыню. Таким образом, мотив слепоты связан у Верна с мотивом нищеты и милостыней, точно так же как и в русском «Путешествии». Заметим, что в стерновском «Путешествии» мотив слепоты отсутствует.

И у Верна, и у Радищева со слепцом связано упоминание музыки. В «Сентиментальном путешественнике» Верна говорится о музыкантах, которые из жалости дают милостыню убогому (II, 11, «Les musiciens»), а потом сочиняют музыку в его честь по просьбе рассказчика (110–111). Таким образом, музыка у Верна и Радищева звучит в грустном контексте (встреча со слепцом), а не в веселом, как у Стерна (пляска после хорошего ужина). Отметим также, что, увидев, как бедные музыканты дают милостыню увечному, путешественник Верна замечает: «Каким бы ни было их подаяние, оно в десять раз было ценнее моего» («Quelle qu'ait été leur

²⁶ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С. 175. О Карамзине и Верне, см.: *Baudin R. Nikolai Karamzin and François Vernes // Russian Literature [в печати]*.

²⁷ Кроме Карамзина, Верна читал В. В. Измайлов. Он упоминает его в повести «Ростовское озеро», опубликованной в «Приятном и полезном препровождении времени» в 1795 году (*Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма*. СПб., 1994. С. 176).

²⁸ Западов В. А. История создания «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Вольности» // *Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву*. СПб., 1992. С. 495–529.

²⁹ *Vernes F. Le voyageur sentimental, ou ma promenade à Yverdun*. Neuchâtel, 1786. Здесь и далее первая цифра означает часть, а вторая — главу. Там, где встречается третья цифра, она служит для обозначения страницы.

aumône, elle valait dix-fois plus que la mienne»; 110). Рассуждение о значении милостыни в зависимости от имущественного состояния того, кто ее дает, предвосхищает мысли радищевского путешественника о преимуществе милостыни, поданной пожилой крестьянкой, перед его собственной.

Схож у Верна и Радищева и то, что в обоих сочинениях речь идет главным образом о народной музыке. В главах «Виола» («La vièle»; II, 13) и «Музыка» («La musique»; II, 14) путешественника Верна на размышления о музыке наводят звуки фиделя, на котором играет, разумеется, за деньги — молодой савоец (II, 13, 113).

У Верна Радищев, видимо, позаимствовал также мотив несоразмерности милостыни. Но если у Верна милостыня путешественника слишком мала, у Радищева, она, наоборот, чересчур велика.³⁰ В обоих случаях, однако, ее несоразмерность выражается в материальности. У Верна монетка, которую путешественник дает нищему, слишком мала и поэтому проваливается сквозь дырку в шапке, в которую тот собирает деньги. У Радищева монетка поражает слепого певца своей необычной тяжестью. В обоих случаях нищий дает понять путешественнику, что подаяние неправильно, чем вызывает в нем чувство вины: герой Верна обвиняет себя в скупости, а герой Радищева — в тщеславии. Ничего подобного не встречается у Стерна, поскольку в «Сентиментальном путешествии» чувство вины вызывает всего лишь отказ дать милостыню («Монах. Кале»). Готовность же ее дать, наоборот, только льстит тщеславию Йорика, отличая его этим, как правильно отметил Нил Стюарт, от радищевского путешественника.³¹

Наконец, в этом эпизоде мы обнаруживаем и мотивацию подаяния нищему третьим персонажем. И у Радищева, и у Верна нищий считает, что заслужил получаемую милостыню добрым делом, сделанным в прошлом. У Радищева слепой объясняет помощь пожилой крестьянкой тем, что он спас ее отца от побоев солдат, когда служил сержантом. У Верна в главе «Любезное дитя» («L'aimable enfant»; III, 5, 147) слепой, тоже солдат-инвалид, объясняет милость мальчика-сироты Анри тем, что он когда-то помог его покойной матери.

Последний мотив — дар платка слепому — не имеет прямой аналогии у Верна. Вероятнее всего, он заимствован у Стерна через посредство Верна,

³⁰ Мотив неадекватности дара встречается также в главе «Едрово», в виде неуместного приданого. Об этом эпизоде и о сходстве его с «Записками» И. В. Лопухина см.: Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву» // XVIII век. Л., 1977. Вып. 12. С. 37–38.

³¹ Stewart N. From Imperial Court to Peasant's Cot: Sterne in Russia // The Reception of Laurence Sterne in Europe. London, 2008. P. 130.

притом, любопытным образом. У Стерна платок присутствует и в «Тристраме Шенди», и в «Сентиментальном путешествии». В романе платок крадет у Тристама Шенди коза бедной девушки Марии, и он великодушно оставляет его Марии. В путешествии Йорик вынимает платок, чтобы утереть слезы умиления, вызванные Марией; платок Йорика, наверно, тоже останется у бедной девушки, так как она предлагает высушить его у себя на груди.³²

У Верна платок тоже присутствует. Его тоже вынимает из кармана герой, чтобы утереть слезы умиления. Однако слезы эти вызывает не девушка, как у Стерна, а слепой нищий, как у Радищева. Но об этом свидетельствует странным образом не сам текст (III, 9) описания встречи со слепым, а фронтиспис «Сентиментального путешественника», помещаемый в книге начиная со второго издания.³³

Держа в руке платок, путешественник Верна поднимает его к небу и обращается к теням славных (литературных) предков, с восклицанием: «О Руссо! О Ричардсон! Где вы?» («Ô Rousseau ! Ô Richardson, où êtes-vous!»).

В радищевском путешествии сюжет с платком завершается: его снимает с шеи путешественник и дарит слепому нищему. Таким образом, заимствованные у Стерна элементы рассказа (платок и дарение) в сочетании с персонажем (слепым), взятым у Верна, в радищевском тексте привели к синтезу. Замечательно, что произошло это под влиянием визуальной реминисценции. Правда, стоит отметить, что французский язык отличает носовой платок (*mouchoir*) от шейного (*foulard*). Но в русском языке эта разница в значительной мере стирается, так как в обоих случаях используется одно и то же слово.

Следует также сказать, что у Верна слепой не умирает, как у Стерна и Радищева. Однако мотив смерти встреченного в путешествии лица присутствует и у женевского автора. В «Сентиментальном путешественнике» путешественник тоже на обратном пути узнает о кончине одного из встреченных раньше персонажей (III, 17, «Les Saules»), бедного Луи, молодого влюбленного, сошедшем с ума после смерти возлюбленной (III, 12, «Louis et Nina»).

Итак, сопоставление мотивов из «Путешествия из Петербурга в Москву» с мотивами из «Сентиментального путешественника» Верна позволяет предположить, что Радищев был знаком с текстом женевского писателя,

³² Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие. М., 1968. С. 643.

³³ *Brissenden R. F. Virtue in Distress...* P. 4. Речь идет об издании, вышедшем в Лондоне в 1786 году.



и что этот текст повлиял на отдельные мотивы главы «Клин». Сходство определенных мотивов в обоих травелогах, однако, вовсе не означает идейного их сходства. При переходе в русский культурный контекст мотивы, заимствованные у Верна, обретают новое значение и отражают систему ценностей, свойственную русской культуре и самому Радищеву.

Первое различие проявляется в чувстве вины радищевского слепого. Если ничего не известно о военном прошлом верновского солдата, то русский слепой характеризуется как жестокий в прошлом солдат. Именно за его жестокость Бог наказал радищевского нищего, лишив зрения. У Верна же потеря зрения — дело случая. Поэтому нищий Верна, ослепнув, хотел покончить с собой, пораженный несправедливостью жизни, но не сделал этого из любви к дочери. Напротив, радищевский нищий терпеливо сносит наказание, в котором видит возможность искупления грехов. Присутствие мотивов греха и вины свидетельствует о религиозности радищевского текста, отсутствующей в «Путешественнике» Верна. Интересно отметить, что мотив греха и вины характерен и для других произведений о русских отставных солдатах того времени. Так, в пьесе В. М. Федорова «Русский солдат, или хорошо быть добрым господином» (1803) отставной солдат Пафнутич боится «вечной муки» за то, что украл драгоценности во время

разграбления турецкого города.³⁴ Мотив вины солдата в радищевском тексте объясняется еще и просветительским антивоенным пафосом радищевского путешествия, наиболее сильно проявленным в главах «Спасская Полесть»³⁵ и «Хотиллов». Для того чтобы оценить антивоенные настроения Радищева, интересно сопоставить радищевского отставного солдата, наказанного Богом за участие в военных действиях, с карамзинскими служивыми, будь то русский старый солдат из Потсдама или французский старый солдат, когда-то служивший при маршале Саксонском и мечтающий поклониться его могиле в Страсбурге.³⁶ Карамзинские отставные солдаты не испытывают мук, потому что не осуждают войну, не покушаются на военную славу, тем более русскую.³⁷

Второй мотив, отличающий радищевское путешествие от путешествия Верна, связан с деньгами. У протестантов Стерна и Верна деньги имеют положительные коннотации. В связи с деньгами проблема может возникнуть только в случае их отсутствия (у Стерна в «Кале»), или недостатка (у Верна в «Калек» («Le Véquillard»)). У Радищева же деньги оцениваются, скорее, негативно. Характерно, во-первых, равнодушие к ним слепого: «Он принимал все денешки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно». Своим равнодушием слепой отвергает логику торгового обмена (песни в обмен на деньги). Отказ от этой логики выражен Радищевым приемом остранения: «По окончании песнословия все предстоящие давали старику, как будто бы награду за его труд».³⁸

³⁴ *Wirtschaftler E. K.* The Common Soldier in Eighteenth-Century Russian Drama // *Reflections on Russia in the Eighteenth Century*. 2001. P. 374–375. У Федорова отставной солдат отдает украденные драгоценности на спасение своего бывшего разоренного помещика, тем самым он искупает не только свой поступок времен турецкой войны, но и свою символическую вину: освобождение от крепостного состояния уходом на военную службу. У Радищева этот элемент тоже присутствует, хотя в менее заметной форме. Отказ слепого от милостыни рассказчика-дворянина можно растолковать как признание слепым того, что он гораздо ниже по своему социальному достоинству, чем его благодетель. Подобное прочтение позволяет объяснить публикацию «Клина» в вышеупомянутых консервативных сборниках, где рисовался образ образцового крепостного, самозабвенно и всей душой преданного своему хозяину. Существенная разница между Федоровым и Радищевым, однако, заключается в присутствии чувства вины в тексте последнего также и у помещика.

³⁵ *Mc Connell A.* The Empress and Her Protégé: Catherine II and Radishchev // *The Journal of Modern History*. 1964. Vol. 36/1. P. 22

³⁶ *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. С. 41–42, 190.

³⁷ О военном патриотизме Карамзина в «Письмах русского путешественника» см.: *Offord D.* Journeys to a Graveyard: perceptions of Europe in classical Russian travel writing. Dordrecht, 2005. P. 96.

³⁸ Курсив мой. — Р. Б.

Равнодушие слепого к деньгам мотивируется христианским неприятием денег, которые ассоциируются с пороком, в том числе с завистью. Как объясняет нищий, рубль может стать поводом для убийства. Поэтому рубль заменяется платком. Изменение характера милостыни служит главным образом для того, чтобы вытеснить даже из текста деньги, имеющие отрицательные коннотации в православном контексте.

Наконец, мотив милостыни получает у Радищева иное значение, чем у его предшественников. У Стерна и Верна давать милостыню — способ испытать собственное доброе сердце. Это своего рода удовольствие, которым путешественники себя тешат, и поэтому осознанно на него идут. Характерно, что Йорик любит давать милостыню, когда ему этого хочется, и злится на монаха в «Кале», потому что тот ее попросил в момент, когда Йорик к этому не был расположен.³⁹ Такое положение вещей сводит нищих к пассивной роли, превращая их в простой стимул для чувствительности путешественников. Так как давать милостыню — способ наслаждаться собственной щедростью, в отношении между просящими и дающими не должен входить элемент обмена. Чувствительные люди дают милостыню, ничего не ожидая в обмен за это, кроме вышеупомянутого удовольствия. В главе «Монтрей» Йорик ничего не ожидает от нищих, которым он дает милостыню. Таким же образом сентиментальный путешественник Верна никогда ничего не получает в обмен на свои подаяния. Появление логики обмена только испортило бы чистоту удовольствия, которое путешественники ожидают от проявления собственного сочувствия. Правда, в главе «Кале» Йорик дает табакерку монаху и получает в обмен за это табакерку последнего. Но этот обмен сразу меняет как повествовательную ситуацию, так и статус просящего, переводя его в сообщество чувствительных людей. В остальных случаях обмена не происходит, и просящие сохраняют исключительно пассивный статус. Лишая просящих активной роли, сентиментальные путешественники проявляют патернализм. У Радищева такой патернализм отнюдь не прослеживается. К слепому он относится не как к стимулу для собственного удовольствия, а с благоговением. Поэтому у него дрожит рука, когда он дает ему рубль. В свою очередь, отсутствие патернализма в радищевском тексте позволяет восстановить обмен. Путешественник дает милостыню, надеясь получить благословение. Именно в этом обмене проявляется почтение путешественника к слепому. Его вызывает особый статус радищевского слепого. Как показала И. Е. Иванова, слепой у Радищева относится к числу «калик перехожих», которые поль-

³⁹ *Berthoud J.* The Beggar in «A Sentimental Journey» // *The Shandean*. 1991. Vol. 3. November. P. 43.

зовались особым почитанием в России.⁴⁰ Это почитание объяснялось тем, что калик отождествляли с Христом, с которым, впрочем, сближали нищих в целом.⁴¹ Отождествление калики с Христом позволяет сделать два замечания. Во-первых, сходство между слепым из «Клина» и Христом служит дополнительным доказательством того, что радищевский нищий не принадлежит к обществу путешественника, в отличие от стерновского монаха. У Радищева нищий находится не ниже путешественника, а выше. Во-вторых, разделение радищевским путешественником народного почитания калики (Христа) свидетельствует об особом понимании милостыни автором. Речь идет о традиционной христианской концепции милостыни. Этим она отличается от концепции Стерна и Верна, мотивированной в основном сенсуалистскими поисками удовольствия путем сочувствия. Другими словами, в радищевском тексте не происходит та «секуляризация практики милостыни», о которой говорит французская исследовательница Югет Криф по поводу текста Верна.⁴²

Сопоставление «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева с «Сентиментальным путешественником» Верна позволяет подвести следующие итоги: 1) «Сентиментальное путешествие» Стерна было, по-видимому, далеко не единственным сентиментальным травелогом, вдохновившим Радищева; на путешествие Радищева, вероятно, повлияла и забытая в наши дни книга Верна; 2) гипотеза влияния книги Верна на произведение Радищева может послужить дополнительным доказательством значения произведений второстепенных писателей в истории усвоения русской литературой западных моделей. Как правильно отметил Жан Брээр, не следует в этой области недооценивать значение *minores*;⁴³ 3) интерес Радищева к Верну не случаен. Как было отмечено исследователями, путешествие Верна отличается от стерновского образца двумя чертами: смягчением присущей Стерну иронии⁴⁴ и — главное — эгалитарными настроениями,⁴⁵ то есть двумя чертами, характерными и для радищевского текста; 4) Выбор Радищевым именно глав «Калека» («Le Béquillard») и «Анри и слепой» («Henri et l'Aveugle») среди многочисленных глав верновского текста

⁴⁰ Иванова И. Е. Духовный стих в «Путешествии из Петербурга в Москву» // А. Н. Радищев: исследования и комментарии. Тверь. 2001. С. 79.

⁴¹ Lindenmeyr A. Poverty is not a Vice. Charity, Society, and the State in Imperial Russia. Princeton, 1996. P. 10.

⁴² Krief H. Emergence du «voyage sentimental»... P. 158.

⁴³ Breuillard J. Vassili Trediakovski (1703–1769) // Derrière l'Histoire — la langue. Paris, 2012. P. 68.

⁴⁴ Brissenden R. F. Virtue in Distress... P. 91.

⁴⁵ Denby D. J. Sentimental Narrative and the Social Order in France, 1760–1820. P. 43.

позволяет прояснить литературные вкусы русского писателя. Они, видимо, соответствовали вкусу дня, так как были высоко оценены рецензентами верновского «Путешествия».⁴⁶ Из этого следует, что хотя это не было единственной его мотивацией, желание «прослыть писателем и заслужить в публике гораздо лучшую репутацию»,⁴⁷ действительно, руководило Радищевым при написании «Путешествия»; 5) Сравнение двух текстов ясно показывает большее значение традиционной христианской этики в сентиментализме русского писателя по сравнению с его западной моделью. Даже будучи деистом, Радищев не был чужд традиционным формам христианства, проявления которых он мог наблюдать в религиозности русского народа.

⁴⁶ L'esprit des journaux. Op. cit. P. 93. Correspondance littéraire, philosophique et critique, adressée à un souverain d'Allemagne. Troisième et dernière partie. Tome quatrième. Paris, 1813. P. 110.

⁴⁷ Из ответа Радищева на вопрос: «С каким намерением писали Вы сию книгу?» (Цит. по: *Бабкин Д. С.* Процесс Радищева... С. 174: «Вопросные пункты коллежскому советнику и кавалеру Радищеву, 8, 9, 10 июля 1790 г.»).

ЕЩЕ РАЗ О ТЕКСТЕ СИБИРСКИХ ЗАПИСОК А. Н. РАДИЩЕВА

Сибирские записки А. Н. Радищева — наиболее объемный и значимый из текстов писателя, сохранившихся лишь в неавторизованных рукописных копиях.¹ Созданный во второй половине 1800-х гг. их список² был обнаружен в Чертковской библиотеке В. И. Семевским, впервые в печати о нем сообщил в 1900 г. В. А. Мякотин,³ первая публикация записок была осуществлена В. В. Каллашом.⁴ Признавая, что, «судя по искажению и пропуску отдельных слов, [рукопись] списана с подлинника Радищева лицом, не особенно осведомленным (по всей вероятности, писарем)» (Ka1 379–380), Каллаш между тем руководствовался принципом буквального воспроизведения источника: «ввиду крайней неисправности копии рискованно было бы вносить в нее какие бы то ни было перемены» (Ka2 [V]).

¹ Такое же происхождение имеют письма, копии которых в связи с тайным надзором над Радищевым были сняты в 1797 г. в калужском почтовом ведомстве, а также стихотворение «Ты хочешь знать, кто я, что я, куда я еду...».

² ОПИ ГИМ. Ф. 445, № 69b. Ссылки на эту рукопись приводятся в тексте статьи в скобках (сокращение — «Рук») с указанием листа.

³ *Мякотин В. А.* На заре русской общественности // На славном посту (1860–1900). Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому. [СПб., 1900]. С. 497. 2-й паг.

⁴ *Каллаш В. В.* «Записки путешествия в Сибирь» А. Н. Радищева // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1904. Т. XI. Кн. 4. С. 379–399; *Радищев А. Н.* Полное собрание сочинений А. Н. Радищева / Ред., вступ. ст. и примеч. В. В. Каллаша. М., 1907. Т. 2. С. 21–44, 295–345. Ссылки на эти издания приводятся в тексте статьи в скобках (сокращения соответственно — «Ka1» и «Ka2») с указанием страницы.

Буквальное⁵ воспроизведение рукописи делало эти публикации не слишком надежными для дальнейшего изучения. Помимо обесмысливающих текст гапаксов, явно вызванных неверным прочтением подлинника переписчиком (прукса, зыб, лово, тюльпа, карманьяком, чиченаре, имок, осни, екинув, и др.), рукопись содержит также многочисленные искажения названий населенных пунктов и рек («Лылаево» вместо «Пылаево», «Тора» вместо «Тара», «в персии» вместо «в Перми», «Кониск» вместо «Каинск»; «лышмы» вместо «Пышмы», и пр.); неоправданные грамматические формы («к заводам *Никита* Демидова», «погост сидит на ... озере, называемое Изюк», и пр.); многие географические названия, составленные из знаменательных слов, могут читаться как имена нарицательные («места прекрасные, от *старого погоста* до Вагая не столь хороши», «от *крутых логов* земля становится не столь равная», «дорога идет по реке до деревни *долого луга 25 вер.*», и пр.).

Публикации Каллаша легли в основу текста записок, изданного в 1909 г. в составе «Полного собрания сочинений» Радищева под редакцией А. К. Бороздина, И. И. Лапшина и П. Е. Щеголева⁶ и послужившего впоследствии основой для публикации записок и их фрагментов П. С. Богословским в 1924,⁷ П. П. Померанцевым в 1949⁸ и А. И. Андреевым в 1952 гг.⁹ Не

⁵ Полной буквальности даже во второй публикации, когда текст был повторно сверен Каллашом по рукописи, добиться не удалось: в нем остались многочисленные различия, преимущественно — не соответствующие рукописи написания слов со строчной буквы и раздельное написание предлогов, а также вставка знаков препинания по правилам пунктуации начала XX века. Кроме того, в ряде случаев предложены неверные чтения рукописи, принятые впоследствии почти всеми публикаторами: «образ жизни, кабский» (Рук 13 — «кабаки»; в Анд 260 предложено чтение «кабацкий»); «пашни по пригорках» (Рук 14 об., Анд 261 — «пригоркам»); «от Филиппова острова 22 вер» (Рук 24 — «острога»); «едем к ... вавилонянам мудрецам» (Рук 32 об. — «вавилонским») и др.

⁶ *Радищев А. Н.* Полн. Собр. сочинений А. Н. Радищева / Под ред. проф. А. К. Бороздина, проф. И. И. Лапшина, П. Е. Щеголева. СПб., [1909]. Т. 2. С. 366–393. Ссылки на это издание приводятся в тексте статьи в скобках (сокращение — «БЛЩ») с указанием страницы.

⁷ *Богословский П. С.* Сибирские путевые записки Радищева, их историко-культурное и литературное значение. (Опыт изучения). С приложением материалов о пермском крае // ПКС. Пермь, 1924. Вып. 1. С. 1–28.

⁸ *Радищев А. Н.* Избр. сочинения / Вступ. ст. Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1949. С. _____. Ссылки на это издание приводятся в тексте статьи в скобках (сокращение — Пом) с указанием страницы.

⁹ *Радищев А. Н.* Полн. собр. сочинений / Под ред. Н. К. Пиксанова и др. М.; Л., 1952. Т. 3. С. 253–304. Ссылки на это издание приводятся в тексте статьи в скобках (сокращение — «Анд») с указанием страницы.

смотря на то, что две последние публикации обнаруживают несомненное обращение готовивших их исследователей к рукописи, многие досадные ошибки показывают, что именно издание 1909 г. служило для них основным рабочим материалом. Так, вставка переписчиком на нижнем поле пропущенного фрагмента («+одна деревенька Чистякова о пяти дворах; 10 верст от кусерака"»; в месте вставки: «+"») при первой публикации была приведена Каллашом лишь в конце текста соответствующего листа рукописи с обозначением места вставки: «пустое место где + начинают строиться». При второй публикации текст был дан Каллашом в смысловой, а не текстовой последовательности, однако в издании 1909 г. он был воспроизведен по первой публикации, причем были убраны все маркеры вставки:

От кусерака дагалопутова волок, то есть пустое место, где одна деревенька Чистякова о пяти дворах; 10 верст от кусерака начинают строится мужики из за ишима на полянах где могут сидеть 2000 душ. От Голопутова места становятся выше, по Ишиму очень хорошие (Ка2 35–36)

От кусерака дага лапутова волок, то есть пустое место, где начинают строится мужики из за Ишима на полянах, где могут сидеть 2000 душ. От голопутова места одна деревенька Чистякова о пяти дворах; 10 верст от Кусеряка места становятся выше, по Ишиму очень хорошие (БЛЩ 361)

Из издания 1909 г. неверная последовательность текста попала в издания 1949 и 1952 гг. Из него же перешли ошибки в указании расстояний между населенными пунктами: «До Бисертской [от Ачитской] 90 вер.»; «из Удинского ... едешь ... 175 [верст] до Тулуна» (Анд 258, 264). Вторая публикация Каллаша приводит эти цифры в соответствии с рукописью и географическими реалиями: «20» и «125» (Рук 9 об., 18; Ка2 31, 40), однако из первой публикации они попали в издание 1909 г., а из него — в тексты, подготовленные Померанцевым и Андреевым (Ка1 388, 395; БЛЩ 359, 363; Пом 710, 716). Подобные примеры, показывающие, что эти исследователи основывались на печатном, а не рукописном тексте, можно умножить.

Таким образом, за более чем сто лет с момента введения в научный оборот сибирских записок Радищева, так и не было осуществлено их критического издания, основанного на тщательном изучении рукописи и комментировании. Вопрос о критическом отношении к рукописи был впервые поставлен М. П. Алексеевым в отзыве на текст, подготовленный Померанцевым: «оставлять в тексте явные описки, исковерканные слова и поправимые искажения не было никакой нужды; критика и восстановление испорченного текста необходимы и должны предшествовать пользованию „Записками“ ... Поправки подобного рода *приближают* нас к отсутствующо-

щей подлинной рукописи Радищева, а не отдаляют от нее». ¹⁰ С подобными взглядами согласны все позднейшие публикаторы «Записок»: различные конъектуры вносились в текст и Богословским, и Померанцевым, и Андреевым, и А. Г. Татаринцевым. Между тем единых принципов, основанных на критическом изучении рукописи, так и не было предложено. Более того, Татаринцев, специально останавливаясь на вопросе о тексте «Записок», пришел к выводу, что, несмотря на ряд очевидных ошибок, «переписчик с предельной для его времени точностью воспроизводит радищевский автограф», то есть, по большей части «существующие в тексте дневников написания должны быть сохранены». ¹¹ Вновь предпринятое изучение истории публикации «Записок» и сохранившейся рукописной копии заставляют пересмотреть подобную позицию и поставить вопрос о выработке общих оснований, на которых должно быть осуществлено критическое издание «Записок».

Наиболее важное в данном отношении замечание было сделано М. П. Алексеевым: любая вносимая в текст конъектура должна быть обусловлена графическими особенностями протографа: «изменение испорченного названия ... „Лылаево“ на „Пылаево“ не может вызвать возражения, так как в данных случаях ошибка явно возникла из графических особенностей рукописи Радищева ... изменение же „Черемы“ на „Черемыш“ ... не является обязательным». ¹² С подобным взглядом согласен и Татаринцев: «переписчик не редактировал, не исправлял радищевский автограф, а графически точно воспроизводил его ... благодаря графически точной передаче мы и догадываемся о подлинном смысле не понятых переписчиком мест». ¹³ Подтверждают в целом подобный вывод и многие конъектуры, внесенные издателями в текст записок. Вместе с тем признание этого принципа позволяет представить, хотя бы в общих чертах, графические особенности протографа.

Первый шаг в решении этой задачи позволяют сделать исправления в ошибочных чтениях, внесенные самим переписчиком в процессе работы. Помимо общих для русской графики ошибок, связанных с прочтением параллельных вертикальных черт (л → н, а → и, ж → щ, ы → ш, а → е,

¹⁰ Алексеев М. П. К тексту «Записок путешествия в Сибирь» // Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950. С. 278.

¹¹ Татаринцев А. Г. Сибирские путевые записки А. Н. Радищева (вопросы текстологии и хронологии) // Проблемы литературы Сибири XVII–XX вв. Новосибирск, 1974. С. 54.

¹² Алексеев М. П. К тексту «Записок путешествия в Сибирь»... С. 278.

¹³ Татаринцев А. Г. Сибирские путевые записки... С. 49.

аін → оли),¹⁴ обнаруживаются также ошибки в чтении букв, занимающих верхний регистр строки (г → т, г → в, Ч → З, я → го, д?л → агп).¹⁵ Очевидно, что, сталкиваясь со сложным написанием, писец старался добросовестно записывать читаемые им в подлиннике *буквы*, а не слова; этим объясняется незначительное число пропущенных¹⁶ и особенно вставленных¹⁷ им при письме букв. Подобные выводы подтверждаются и при анализе бесспорно допущенных писцом ошибок:

а) чтение горизонтальных черт: *и* ↔ *н* (ценагаузом, Кониску, Каниск, Кайсаго, барисульским, сосихтом, танги, санги), *н* ↔ *м* (устьяканенгорскую, Пышне, Комсаго), *а* ↔ *и* (Килыека, Тасасики), *п* → *л* (Челца, лышмы, долылаева), *к* → *н* (Мошна, казанов, Оргыном), *і* → *с* (Ксе), *ст* → *ш* (Ушардинсаго), *в* → *к* (Килыека), *т* → *н* (исени), *л* → *н* (поденьшиков), *п* → *н* (нашные), *м* → *си* (Тасасики), *м* → *сі* (Персіи), *м* → *ни* (янишины), *ы* → *ли* (устья Кутли) (Рук 2 об., 5, 5 об., 7, 7 об., 11–12, 13 об., 14 об.–15 об., 17 об., 19, 20 об., 21, 25, 27 об., 28, 30, 30 об., 31 об., 32).

б) написания «круглых» букв: *а* ↔ *о* (до Торы, Кониску, Консаго, Ушардинсаго, Колыева), *я* → *х* (сосихтом), *х* → *а* (сосихтом), *а* → *е* (по тере), *а* → *с* (барисульским) (Рук 7 об., 13 об., 15, 15 об., 17 об., 19, 27 об., 32);

в) написания в верхнем и нижнем регистре: *з* → *т* (сосихтом), *л* → *з* (сего Златоустово), *з* → *в* (острова), *ч* → *у*, *у* → *р* (Кемурга), *с* → *д* (поденьшиков) (Рук 9, 16, 17, 24, 27 об., 28, 29 об.).

Таким образом, основными принципами при внесении конъектур в текст сибирских заметок должны стать следующие: 1) не допускаются конъектуры, основанные на фонетической близости; 2) предложенные конъектуры должны подтверждаться опытом бесспорных ошибок писца; 3) предложенная графическая конъектура не должна нарушать числа горизонтальных черт в протографе, восстанавливаемого по чтению писца.

Исходя из этих принципов, следует отказаться от ряда предложенных в осуществленных изданиях конъектур: зыбь → зоб; лово → мало;¹⁸ жецже → ниже

¹⁴ «видел»; «припасаны», «прилещащих», «вшезжают», «Заледаевой» (приведены варианты до правки: Рук 9, 9 об., 17, 18, 29); упоминание города Каинска было прочитано писцом сперва как «Колиску» и затем исправлено на «Кониску» (Рук 15).

¹⁵ «торгу» (Рук 2 — испр. на «гору»), «острова» (Рук 15 об., 17 об.), «Заускаго», «вятсаго», «загпан», (Рук 15 об., 2 об., 12).

¹⁶ Два случая связаны с автоматическим прочтением привычных слов: пропущены «з» в «разстояние» и «ч» в «речка», и один случай — механический пропуск: «нероки» в «нешироки» (Рук 11 об., 13 об., 30 об.).

¹⁷ Единственный случай — прочтение слова «гору» как «торгу».

¹⁸ *Татаринцев А. Г.* Радищев в Сибири. М., 1977. С. 54, 232.

(Пом 706); оть лески → от лесов (Пом 708); тюльпа → толпа (Анд 260); на осни → селе (Анд 261); слоны → слоями (Пом 718); омула → откуда (Анд 265). Вместе с тем эти же принципы позволяют дать, как кажется, довольно надежное чтение двух из этих сложных мест.

К неясному слову «лово», появляющемуся в контексте «Работа состоит в рубке дров, по 3 1/2 сажени с души, за сажень получают лово, а сами платят по 1 р.», Каллашом еще при первой публикации было сделано замечание: «возможно, 1 ово». Написание буквы «л», действительно, позволяет предположить, что в протографе вместо «л» стояло «1» или «4»; в таком случае, в соответствии с известными сведениями о плате за работу по рубке дров во 2-й половине XVIII — начале XIX вв.,¹⁹ можно предположить, что все слово должно быть прочитано как «40 ко<пеек>»²⁰.

Вариативность прочтения переписчиком буквы «м» протографа (сі, си, ни) и наиболее частотные ошибки, связанные со взаимной заменой «и» и «н» (два эти условия делают замену «м» на «сн» допустимой), позволяют предполагать, что во фразе «В Вознесенском на осни есть старожилы» село Вознесенское предстает расположенным на реке Омь, что соответствует географическим известиям.²¹

Наиболее сложным вопросом при подготовке текста оказывается передача географических названий в рукописи и протографе. Впервые исправления в написания переписчика были внесены Богословским; наиболее обширно они представлены в тексте, подготовленном Померанцевым. Отказавшись — в соответствии с рекомендациями Алексеева — от значительной их части, Андреев, готовя текст для «Полного собрания сочинений» Радищева, внес в него между тем и ряд собственных исправлений. В своем рассуждении о точности сохранившейся рукописи, Татаринцев, сосредоточившись преимущественно именно на вопросе о географических названиях, критиковал названные издания («на 1 % „ошибок“ переписчика приходится

¹⁹ См. наказ ясашных крестьян Казанского уезда (1767 г.): «Хотя нам от конторы плата за каждую сажень, сверх плакату, по 10 копеек и зачитается, токмо мы ... получать бы не желали. Ибо за все те работы рубка дров за каждую сажень приходит нам по тридцати по пяти копеек. А сами мы, за ... изнеможениями, нанимаем для оной рубки башкирцев и даем от каждой сажени по семьдесят и по восемьдесят копеек» (Материалы Екатерининской законодательной комиссии. СПб., 1903. Т. 10 (Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 115). С. 251–252); см. также: Хозяйственное описание Пермской губернии. СПб., 1813. Ч. 2. С. 20–21; Смирнов С. С. Приписные крестьяне на горных заводах Урала. Челябинск, 1994. С. 82.

²⁰ Сокращение «ко» — наиболее частотное в рукописи для слова «копейка».

²¹ Географико-статистический словарь Российской империи / Сост. П. Семенов. СПб., 1863. Т. 1. С. 507.

15% ошибок XX в.»²²), указывая в первую очередь на то, что ни одним из предшественников не было сделано точных указаний на источники, послужившие основанием для исправлений. Результаты Татаринцева, использовавшего для установления верных написаний населенных пунктов Пермской и Тобольской губерний четыре рукописных документа и два печатных издания,²³ а также привлечение более обширного круга печатных дорожников конца XVIII — начала XIX вв.²⁴ позволяют уточнить сделанные ранее выводы и установить принципы для дальнейшей работы.

Печатные дорожники показывают высокую вариативность словообразовательных форм названий населенных пунктов, через которые проезжал Радищев: «Янгулова» (Енгулова, Янгуловская, Янгуль, Ендагулова), «Мелеты» (Милета, Мелецкая, Мелет, Мелеть), «Старый Погост» (Старое Погостье, Старопогостская), и др.,²⁵ — поэтому любые изменения словопроизводных моделей при реконструкции протографа сибирских записок недопустимы. Вместе с тем печатные источники показывают большое число вариантов словопроизводной основы населенных пунктов, объясняемых, скорее, графическими особенностями рукописей, с которых производился набор, чем фонетикой и этимологией самих названий: «Арбаш» (Арбат); «Зятцы» (Винцы; Цятцы); «Бисертск» (Биеетская); «Лучинкина» (Лугинина); «Боготольское» (Боготон; Ботанская), и др. Их наличие подтверждает возможность неверного прочтения подлинника переписчиком (ср.: «Аринск», хотя все доступные источники приводят написание «Ачинск»; «Комский» (Канской, Канск, Кайской, Каинсой); «Тулан» (Тулун, Тулуновская); «Ушардинское» (Устьординская); «Кониск» (Каинск, Каинской); «Тора» (Тара); Лылаево (Пылаева, Пылаевская), и др.), а также заставляет для решения вопроса о возможном искажении подлинника переписчиком обращаться к рукописным описаниям почтовых дорог, составлявшимся на местах в конце XVIII века.

²² Татаринцев А. Г. Сибирские путевые записки А. Н. Радищева... С. 54.

²³ Новый гонец и путеказатель (СПб., 1793); Новый указатель дорог в Российской империи (М., 1801. Ч. 1).

²⁴ Всеобщий и совершенный гонец (СПб., 1791; сост. В. Г. Рубан); Новая почтовая такса (СПб., 1796); Новейший российский дорожник (СПб., 1797); Российский почт-календарь (СПб., 1800); Указатель дорог Российской империи (СПб., 1804; сост. М. С. Вистицкий); Почтовый дорожник (СПб., 1829).

²⁵ Показательна вариативность в издании В. Г. Рубана, пользовавшегося несколькими, в том числе рукописными, источниками: Мелета (варианты — Милеты, Мелеты, Мелята); Вяжентин Камс. (Какси, Воженемская, Важентемканская); Зятцы (Ицы, Вины, Изятца); Киргишанская (Пултишанская, Киргитанская), и др.

Поскольку задачей научного издания записок должна стать реконструкция протографа, важно учитывать, что ошибки в написании географических названий содержал, по-видимому, и подлинник. Нам неизвестно, откуда Радищев получал соответствующие сведения. Хотя Татаринцев предполагает, что «Радищев ... пользовался не одним каким-то источником, а разными: дорожными указателями, верстовыми столбами, устными справками служащих почтовых станций, ямщиков и местных жителей»,²⁶ в большинстве случаев наиболее вероятно последнее. Верстовые столбы не упоминаются им ни разу, а о дорожных указателях сообщается лишь однажды — как о непривычном нововведении: «У почтовой избы висит доска, на которой написано, сколько от стану в обе стороны верст, — дабы не было спору и обманов, прислана от казенной палаты». Вместе с тем многие словоформы в названиях населенных пунктов свидетельствуют, что записывались они со слуха. Так, в двух записях 1790 г. можно увидеть разноречивой цоканья и общего произношения, отражающий, по-видимому, разницу в говорах у возниц Радищева: «переехали реку Чепцу ... Чепца, 20, на реке того же имени ... В Чепце ночевали, последняя вотская деревня» (16 ноября), «За Цепцой деревней более полей ... От Цепцы до Сосновой 38 верст» (17 ноября). Встречаются и неверные записи названий населенных пунктов, связанные с естественным фонетическим усечением: «Усрепенского» (вм. Устьрепенского); Киришанская (вм. Киргишанская). Таким образом, можно предложить следующие принципы для передачи географических названий в записках: 4. Допускаются конъектуры только в словопроизводной основе названия; 5. Все фонетические и необъяснимые графическими особенностями протографа разночтения с другими известными вариантами названий сохраняются.

Особого решения требуют формы слов рукописи, не соответствующие грамматическим нормам. В изданиях 1949 и 1952 гг. только для записок путешествия в Сибирь было введено 18 подобных конъектур, из которых лишь 6 могут рассматриваться как в некоторой степени оправданные: «По Сильве ходят суда в Каму ... романовка и шитики» (предложено «романовки»); «приписаны к заводам Никита Демидова» («Никиты»); «на ... озере, называемое Изюк» («называемом»); «обо бока» («оба»); «проезжать надлежит степь, Братскою именуемую» («именуемую»), а также употребление форм родительного падежа «Сибири». Из приведенных примеров 4 объяснимы рассмотренными ранее графическими особенностями протографа (романовки; Никиты; оба; Сибири); однако, оставшиеся два написания (называемом, именуемую) подобной ошибкой объяснены быть не могут,

²⁶ Татаринцев А. Г. Сибирские путевые записки А. Н. Радищева... С. 54.

что не позволяет принять предлагаемые конъектуры: так, в одном из этих приходится выбирать из двух возможных конъектур: «степью» или «имеваемую».

Это заставляет принять следующий принцип: б. Конъектуры в области грамматических форм допустимы только при соблюдении трех требований: а) фраза теряет смысл при чтении переписчика; б) форма в рукописи не имеет аналогов в языке XVIII века; в) предлагаемая конъектура подтверждается опытом бесспорных графических ошибок переписчика. В соответствии с этим придется отказаться от предложенной Померанцевым конъектуры в следующем считавшемся ошибочным случае: «пьяных всех наехали» (предлагалось чтение «наехало» (Пом 253); слово «наезжать» в значениях ‘столкнуться во время езды’, ‘во время поездки обнаружить что-либо’ употреблено в сочинениях Радищева 6 раз, в том числе в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших»).

Все принципы, предложенные для мест, отмеченных возможными ошибками переписчика или Радищева, не отменяют необходимости тщательной и внимательной работы с рукописью при подготовке всего текста записок: необходимо, в частности, сохранить членение текста на абзацы и предложения; для принятия ряда текстологических решений требуется тщательное комментирование текста с привлечением данных как по истории мест, по которым проезжал Радищев, так и по их говорам и языкам населявших их народностей.²⁷ Хочется надеяться, что подобное выверенное издание текста с подробным комментарием сможет стать незаменимым пособием как для исследователей творчества Радищева, так и для специалистов по истории восточных областей России конца XVIII века.

²⁷ Так, предложенное чтение следующей фразы: «Есть у иных овины и риги, но по полям колки. Сушат хлеб в снопах» (Анд 255) противоречит ее смыслу, поскольку «колки» здесь — не «отдельная рошица, лесок», как с опорой на словарь В. И. Даля понимали это место все издатели, начиная с Каллаша, а «укладка сена, имеющая форму конуса; копна» (Словарь русских народных говоров. Л., 1978. Вып. 14. С. 163). В соответствии с этим значением, в рукописи (л. 4 об.) слова «колки» и «сушат» разделяет запятая.

Н. А. ЛЬВОВ — ПОСВЯТИТЕЛЬ, МЕНЯЮЩИЙ МАСКИ

Жерар Женетт, характеризуя многообразие интертекстуальных (в его терминологии транстекстуальных) связей, уделил особенное внимание обрамлению «собственно текстов» разнообразными паратекстами. Ближайшие из них, «перитексты», призваны, по его мнению, непосредственно воздействовать на читательское восприятие, — это названия, подзаголовки, посвящения, предисловия, послесловия, сноски, примечания, комментарии, иллюстрации, обложки и прочие авто- и аллографические сигналы.¹ Несомненно, что именно перитексты обладают незаурядным игровым потенциалом — они то сливаются с основным текстом, создавая впечатление неотделимости от него, то автономизируются и тем самым деавтоматизируют читательское восприятие. Особенности посвящений на материале русской литературы XVIII века в последнее время было уделено немало внимания;² при этом в первую очередь рассматривались обстоятельства экстратекстуальные — специфика посвящений в их общественном функционировании, их обращенность к тем или иным бенефициантам или авто-

¹ Genette G. *Palimpsestes, la littérature au second degré*. Paris, 1982. P. 7 и далее.

² Warda A. *Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji*. Łódź, 2000; Кочеткова Н. Д. 1) Литературные посвящения в русских изданиях XVIII — начала XIX века. Статья 1. Особенности жанра // XVIII век. СПб., 2002. Сб. 22. С. 66–84; 2) Литературные посвящения в русских изданиях XVIII века. Статья вторая. Посвящения государю // Там же. СПб., 2004. Сб. 23. С. 20–46; 3) Литературные посвящения в русских изданиях XVIII века. (Посвящения екатерининским вельможам) // Там же. СПб., 2006. Сб. 24. С. 96–124; 4) Литературные посвящения руководителям учебных заведений и наставникам // Там же. СПб., 2008. Сб. 25. С. 39–63. В этих публикациях приведена также основная литература вопроса.

ритетным лицам, посвятельный церемониал. Действительно, роль посвящения как «благодарственного поля», где автор отдавал должное оказанной поддержке, выражал верноподданнические чувства, а порой и искательствовал, несомненно, долгое время была ведущей. В сущности это была область фактуального, даже если принадлежность основного текста к художественной литературе не может быть подвергнута сомнению. Как уже справедливо отмечалось, с течением времени «шаблонные формулы посвящений начинают все больше варьироваться, становясь менее официальными и казенными», что в значительной степени было связано с культурой сентиментализма и ее экспансией. Во второй половине XVIII столетия посвящения испытывают все большее влияние дружеской переписки, они все чаще адресованы «другу, члену семьи, возлюбленной», на смену пространным самоуничижительным подписям приходят инициалы, понятные и внятные лишь узкому кругу друзей.³ Живой процесс фикционализации эпистолярного жанра отражается и на посвящениях — они, как и дружеские письма, все чаще напоминают послания; стихотворная стихия теснит прозу; исторический автор уступает место лирическому герою. Это становится особенно явственным, когда один и тот же литератор в своих посвящениях надевает различные, во многом контрастные маски.

Именно так обстоит дело в трех дедикациях Н. А. Львова, о которых пойдет речь ниже. Это посвящения комических опер «Ямщики на подставе» (1787) и «Парисов суд» (1796), а также поэмы «Зима» (1791); первое и третье из них, хотя и анонимно, были опубликованы при жизни Львова. Бурлескный «Парисов суд» вошел в том рукописных произведений поэта и был в конце XVIII столетия известен лишь узкому, дружескому кругу. При всей несхожести трех посвящений, их объединяет то, что они обращены к друзьям поэта и создают каждый раз некую фикциональную ситуацию, контрастную и по отношению к художественному произведению, которое они «обрамляют», и по отношению к тому, что нам известно о Львове и о тех, кому он посвятил свои произведения, т. е. к экстратекстуальной реальности.

«Приношение его высокоблагородию С. М. Митрофанову» открывает книжечку «Ямщиков на подставе», изданную во время тамбовского губернаторства Г. Р. Державина в его вольной типографии.⁴ О его адресате почти ничего не известно (его инициалы до сих пор исследователи пред-

³ Кочеткова Н. Д. Литературные посвящения в русских изданиях XVIII — начала XIX века. Статья 1. С. 82–83.

⁴ [Львов Н. А.] Ямщики на подставе. Игрище невзначай. Тамбов, 1788. С. [3].

почитали не раскрывать).⁵ Все же это, кажется, можно сделать, ибо некий надворный советник Митрофанов был упомянут как начальник гребецкого хора на Потемкинском празднике, который состоялся 28 апреля 1791 года «в доме его близ Конной гвардии».⁶ В месяцесловах с росписями чиновных особ как раз в это время фигурирует стряпчий по уголовным делам надворный советник Сергей Митрофанович Митрофанов, служивший во втором департаменте Санкт-Петербургского губернского магистрата.⁷ Митрофанов упомянут также в шуточном стихотворении Державина «Похвала комару» как исполнитель песни «Высоко сокол летал...» (была включена Львовым в подготовленное им совместно с Иваном Прачем «Собрание народных русских песен с их голосами», 1790); в примечаниях к «Похвале комару» (1807) Державин называет Митрофанова «известным певцом».⁸

Некоторое представление о личности Митрофанова можно почерпнуть из 56-страничной книжки «Песни русские известного охотника М*****», вышедшей из печати в Петербурге в 1799 году. В ней Митрофанов опубликовал для своих почитателей двенадцать песен любовного содержания, им

⁵ См., например, статьи В. П. Степанова и А. Н. Крюкова о С. М. Митрофанове (Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2: (К–П). С. 292–293; Музыкальный Петербург: Энциклопедический словарь. СПб., 2000. Т. 1. Кн. 2 (К–П). С. 214–215). О значении С. М. Митрофанова для русской песенной культуры напомнил в XX веке И. Н. Розанов (*Розанов Ив. Один из создателей народных песен // Книжные новости*. 1936. № 21. С. 31). В своих исследованиях он неизменно подчеркивал, что именно Митрофанова, наряду с Мерзляковым, следует считать создателем жанра «русской песни», который приобрел огромную популярность в 1820-е — 1830-е годы XIX столетия. Розанов также перепечатал восемь песен Митрофанова и посвятил ему шестистраничный очерк в следующем, собранном им томе малой серии «Библиотеки поэта»: Песни русских поэтов / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. И. Н. Розанова. Л., 1936. С. 88–94. С той поры они — неотъемлемая часть антологий литературных романсов.

⁶ «В саду на пруде приурочена была китайская шлюбка и несколько других с тем, чтобы гребцы под начальством какого-то г-на надворного советника Митрофанова пели гребецкие песни, но худая погода быть сему не дозволила» (*Кирыяк Т. П. Потемкинский праздник 1791 года (Письмо в Москву) // Русский архив*. 1867. № 10. Стб. 694; см. также «Описание торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила» Г. Р. Державина и материалы, собранные о нем Я. К. Гротом в кн.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1864. Т. I. С. 377–419).

⁷ Впервые Сергей Митрофанович Митрофанов упомянут в месяцеслове за 1783 год в чине поручика как стряпчий в обоих департаментах Губернского магистрата; в следующем году у него уже чин коллежского ассессора. С 1786 года он числится здесь же, но лишь при втором департаменте. С 1787 года он «стряпчий уголовных дел»; с 1788 по 1796 год — надворный советник.

⁸ Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1866. Т. III. С. 401.

сочиненных и, по всей видимости, охотно им исполнявшихся.⁹ Опубликованные в сборнике Митрофанова песни пользовались немалой популярностью в начале XIX века главным образом в городской, мещанской среде, для которой они, судя по всему, и предназначались. По художественным достоинствам и степени отделки они значительно уступают салонным романсам Ю. А. Нелединского-Мелецкого, И. И. Дмитриева и Н. М. Карамзина.¹⁰

В кратком предисловии, подписанном «С*** Мтрфнв», автор иронично характеризует свои склонности и подчеркивает камерность своего дарования, посвящая его своим слушателям и читателям (в нижеприведенном пассаже сохранен ряд орфографических особенностей, дающих представление о разговорном характере данного пассажа):

Почтеннейшие любители русских песен!

Вам, милостивые государи! посвящаю сии песенки, написанные слабым моим пером, до которых я великий охотник. Не погневайтесь, если оне не совсем будут по вашему желанию. Не имея дара стихотворческого чтобы воспеть на лире великих мужей так, как делали древние и делают нынешние поэты, я курныкаю кое-как в удовольствие любящих русской голос, русские песенки про невинную любовь; и признаюсь, что нет ничего приятнее для сердца моего, как когда на досуге хвачу с раскатом и с балалаечкой песенку про матушку про Любовь, в честь которой присовокупляются ручейки, лужочки, рощицы, долины, пригорки, цветочки, птички, свирелки, короводы и проч.¹¹

Простоватость этой декларации обманчива. На деле она в высшей степени литературна — вслед за Анакреоном множество поэтов отстаивало право воспевать не бранные подвиги и великих людей, а свои чувства. При всей банальности, а потому и всегдашней актуальности содержания этому признанию не отказать в оригинальности плана выражения — Митрофанов избирает не нейтральный или возвышенный стиль, но отчетливо разговорный, с элементами просторечия. Одновременно он пародирует штампы сентиментальной поэзии и создает ироническую дистанцию к собственному творчеству. Признавая своей всегдашней целью «быть добрым гражданином,

⁹ [Митрофанов С. М.] Песни русские известного охотника М*****, изданные им же в удовольствие любителей оных. С гравированным портретом. СПб., 1799. Завершает собрание песен стихотворный «эпиграф» «Славно пел я иль не славно...» на с. 56, во многом перекликающийся с цитируемым мною предисловием.

¹⁰ В. Е. Гусев так характеризует его творчество: «По содержанию и стилю песни Митрофанова — характерный образец сентиментального фольклоризма. Они пришлись по вкусу современникам, и некоторые из них вошли в быт» (Песни русских поэтов: В 2 т. / Вступ. ст., сост. подгот. текста, биогр. справки и примеч. В. Е. Гусева. Л., 1988. Т. 1. С. 169).

¹¹ [Митрофанов С. М.] Песни русские известного охотника М*****. С. [3–4].

исполнять свято свою должность, ежеминутно благодарить Бога и государя за их милости, быть любимым всеми подобными себе», Митрофанов так формулирует свое кредо: «петь и веселиться без вреда ближнему», при этом петь громогласно — «во всю Ивановскую в удовольствие других и свое собственное», «про Любовь, для прогнания скуки». ¹²

Собственный портрет «певца любви», начертан им нарочито сниженно: «Но чтоб вы знали, почтеннейшие любители русских песен, что за творение, которое так думает, я опишу вам мой портрет и природную красоту во всем ее блеске: Я росту среднего, имею глаза навывкате, и словно как бы прорезаны осокой, нос мякушкой, а персонаж представляет бруснишную меру, впрочем, приятности бесподобной». ¹³

Как явствует из месяцесловов с росписями чиновных особ, у Митрофанова уже в 1788 году, т. е. когда Львов посвятил ему «Ямщиков на подставе», был чин надворного советника, требовавший обращения «высокоблагородие». Все же «высокоблагородие» в посвящении Львова звучит как соответствующее некоей табели о талантах, противоположной общепринятой. Столь же оправдано в этой, контрастной к общепринятой, системе отчета и «приношение» (почти «подношение»), ибо поэт-архитектор в это время имел уже более высокий чин, чем Митрофанов (с 1783 году Львов был коллежским, а в 1788-м стал уже статским советником).

О неказистой внешности Митрофанова, насчет которой любил побалагурить и их обладатель, Львов упомянул в зачине посвящения «Ямщиков на подставе», прося о «покрове» для своего детища:

О ты! которого негладкий тучный вид
Лекеня набекрень нам вживе представляет,
В котором каждый член и мышца говорит,
Когда искусный перст твой вьюшки завивает,
Прими ямскую ты в покров мою свирель. ¹⁴

Несколько строк в посвящении наводят на мысль, что именно песельники Митрофанова должны были по первоначальному замыслу Львова исполнить «Ямщиков». Спеть в комической опере должен был, со всей очевидностью, и сам Митрофанов. Весьма вероятно, что подобное представление даже состоялось частным образом — в доме Львова или его ближайших родственников. Народные песни, включенные в комическую оперу Львова, были хорошо знакомы Митрофанову и его «шайке», певшей, видимо, большей частью не по нотам, но по памяти, нередко импровизируя:

¹² Там же. С. [4].

¹³ Там же. С. [5].

¹⁴ [Львов Н. А.] Ямщики на подставе. С. [3].

Но на голос стихов наладить я не знаю
И для того к тебе, муж звучный, прибегаю:
Пленный звонкою я шайкою твоей,
Согласной пением, а видом на разладе,
Являющей орган с похмелья в маскераде, —
Вели ты голосом чудесной шайке сей
Дать силу, жизнь и блеск комедии моей.
Да будет не стихам, тебе и честь и слава.
Прибавь ты к пению их новы чудеса
Хрипучим голосом дрожащего баса.
Всю площадь удиви, подвигни небеса
И свету докажи, что есть твоя октава.

В заключительных семи стихах посвящения Львов отступает от шестистопного ямба, которым написаны предшествующие стихи, в пользу ямба четырехстопного. Все стихи «оперены» гомеофонными рифмами (двумя женскими и пятью идущими подряд мужскими) и нарочито оканчиваются на «ю». В этой части стихотворения посвяtitель кратко характеризует себя — он оказывается приверженцем той же, не «мерной» манеры исполнения русских песен, страстным любителем которых является, хотя и не одарен столь замечательным голосом:

Я от тебя не потею,
По нотам мерного я не причастен вою,
Доволен песенкой простою,
Ямскою, хватской, удалою,
Я сам по русскому покрою,
Между приятелей порою
С заливцем иногда пою.

Львов, таким образом, «подстраивается» под ухарские повадки адресата своего посвящения и надевает маску столь же бесшабашного представителя простонародья, преданного песенной стихии и охотно посмеивающегося над собой. Схожий автобиографичный образ с ярко выраженными фольклорными чертами находим в автоэпиграммах Львова 1790-х годов.

Итак, в посвящении Митрофанову стилистическим ориентиром становится добродушное грубоватое балагурство, акцентировавшее несерьезность, «карнавальную» сущность этого перитекста. Совсем иной стиль избран для посвящения поэмы «Зима» жене Н. А. Львова — Марии Алексеевне Львовой, урожденной Дьякóвой (содержится лишь в отдельном издании 1791 года и отсутствует в журнальной публикации поэмы).¹⁵ Оно

¹⁵ *Львов Н. А.* Зима // Муза. 1796. Ч. 1. Февр. С. 129–138; Март. С. 175–181.

теснейшим образом связано с взаимопосвящениями и взаимообращениями Львова и Хемницера.

Первым в 1774 году «любезному другу» посвятил свой перевод героиды К. Ж. Дора «Письмо Барнвеля к Труману из темницы» Хемницер:

Его благородию

Николаю Александровичу Львову

Любезный друг!
Нелестной дружбе труд усердный посвящаю
И знанью правому судити предлагаю;
Когда я перевод сих малых строк свершил,
О чувствовании твоём я вообразил,
Любезный друг! прими сие ты приношенье,
А мне дай чувствовать едино утешенье
И мысль собщи свою о переводе сем:
Льсти убягая, ты откроешься во всем;
В том удовольствии за труд сей полагаю.
О подлиннике ты известен уж, я знаю;
В нём тьма красот, но нет их в переводе сем.¹⁶

Своим посвящением Хемницер задал на много лет совершенно иной тон диалогу с другом, чем тот, что был у Львова с Митрофановым. Это тон сентиментальной дружбы, «сродства душ», выверенных комплиментов, предполагающий гладкость и единство стиля, тщательность отделки и изящество формы. Именно такие стихи уместны в дворянском салоне, в атмосфере словесных игр, в присутствии законодательниц вкуса, окруженных утонченным поклонением. В этом отношении весьма показательна вовлеченность в диалог жены Львова и легенда о безответной любви Хемницера к ней, которую донесли до нас биографические предания. Укажу и на то, что акростих-посвящение 1774 года открывает череду комплиментарных стихотворений, адресованных Хемницером Львову и бытовавших в рукописной форме — эпиграмм, надписей, стихотворных вставок в письма и проч.¹⁷

¹⁶ Дора К. Ж. Письмо Барнвеля к Труману из темницы: Героида / Перевел с французского Иван Хемницер. СПб., 1774. С. 5.

¹⁷ См.: «Стихи, писанные в письме к Ник<олаю> Алекс<андровичу> Львову в Москву <17>75 года апреля 8»; «Так! Это Львов! Он сам! Его, его сей вид!..»; «Epigramme assez pour faire le portrait de N. A. Lwoff par la rime «-age» (и авторский перевод), «Epigramme sur mr. N. A. Lwoff» и проч. (Хемницер И. И. Полн. собр. стихотворений / Вступ. ст. Н. Л. Степанова. Сост. Л. Е. Бобровой. Подгот. текстов и примеч. Л. Е. Бобровой и В. Э. Вацура. М.; Л., 1963. С. 195, 226, 257 и далее (Б-ка поэта)).

Хемницер посвятил М. А. Дьяковой первый сборник своих басен,¹⁸ вышедший в свет в 1779 году анонимно и ставший одним из первых и наиболее важных выступлений львовско-державинского кружка. В этом стихотворном обращении Хемницер описывает явление к нему персонажей басен, вошедших в книгу, видящих в покровительстве Дьяковой надежную защиту от хулы и несправедливых наскоков. На обращение к Дьяковой откликнулся влюбленный в нее Львов, написавший от лица своей будущей жены «Эпиграмму сочинителю» басен и сказок NN нояб<ря> 26-го».¹⁹ Это не эпиграмма в том смысле, который вкладывали в него обычно современники, но, скорее, изящный комплимент мыслям, языку и прочим достоинствам басен, «выдавшим» имя сочинителя.²⁰

Посвящение Львовым поэмы «Зима» жене в 1791 году заключает многолетний диалог двух друзей, в который она была вовлечена не как участница, но, скорее, как олицетворение изящества и адресат. Вольный ямб, избранный Львовым, отсылал в первую очередь к посвящению в издании басен Хемницера 1779 года (кстати, именно этот размер займет вскоре доминирующее положение в посланиях Львова). В сравнении с ним стихотворное обращение Львова синтаксически усложнено и явно имитирует устную речь — с ее обилием инверсий, неправильностей, эллиптических и незавершенных конструкций. Так, для зачина поэтом избрана конструкция с вынесенным вперед положением, отрицаемым далее, а противоположное ему пояснение здесь отсутствует (его находим далее, в другой фразе). От читателя требуется повышенное напряжение для того, чтобы понять, какая мысль отстаивается автором, отыскать значительно ниже в тексте ответ на вопрос о том, какой же «цвет» особенно мил сердцам:

Не так нам мил тот цвет,
Который для себя в пустыне
В печальном сиротстве цветет
И в бедственной судьбине
Листок пригожий свой

¹⁸ В печатном тексте имя ее было обозначено литерами «N... N... N», раскрытом в экземпляре книги, принадлежавшей Львову (Там же. С. 301).

¹⁹ Это единственное эпиграмматическое стихотворение Львова, опубликованное при жизни поэта. Оно было напечатано анонимно: Санкт-Петербургский вестник. 1779. Ч. IV. С. 360. Авторство установил Б. И. Коплан на основании автографа в «Путевой тетради № 1» Львова (ИРЛИ. 16470. Л. 41 об.; ср.: Коплан Б. И. К истории жизни и творчества Н. А. Львова // Известия АН СССР. 1927. № 7/8. С. 722).

²⁰ Хемницер ответил мадригалом «Чувствительно вы похвалили...» (Сочинения и письма Хемницера по подлинным его рукописям, с биогр. статьей и примеч. Я. Грота. СПб., 1873. С. 366; Хемницер И. И. Полн. собр. стихотворений. С. 227).

Единым ветрам он вверяет.
Не величался он между людей собой,
Не послужа ни пользой, ни красой,
В забвенье увядает,
Засох... и праха нет.²¹

Нельзя не отметить и нарочитую грамматическую неправильность этих строк — личное местоимение «он» в шестом стихе избыточно, ибо функцию подлежащего уже взяло на себя относительное местоимение «который», но это явно не смущает автора, стремящегося повысить экспрессивность высказывания, имитировать взволнованность живого общения.

Композиция стихотворения трехчастна и во всем подчинена развитию основной мысли, опирающейся на метафорическое уподобление поэтического дарования цветку. Тезис описывает пагубные последствия одиночества для таланта, антитезис иллюстрирует необходимость дружеской атмосферы и похвал для его развития, а в заключительной части воздается должное той, кто покровительствовал талантам двух друзей, один из которых уже скрыт могилой:

Не так бы величался
И стих весенний мой,
Когда б не красовался
Твоей он похвалой.
Пороков злых гонитель
И истины ревнитель,
Природы друг простой,
Хемницер дорогой,
Талант свой дружбы в дар священный
Залогом положил,
Светильник истины возжженный
Тебе в покров он посвятил;
А я, стезей его ступая,
Не те хотя цветы срывая,
Не тем усердьем вдохновен,
Твоею лаской ободрен,
С восторгом жертвую трудами.
Не храмами, не алтарями,

²¹ *Львов Н. А.* Избранные сочинения / Предисл. Д. С. Лихачева. Вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. К. Ю. Лаппо-Данилевского. Перечень архитектурных работ Н. А. Львова подготовлен А. В. Татаринковым. Кёльн; Веймар; Вена, 1994. С. 253. Данное издание цитируется далее в тексте статьи в круглых скобках с указанием страницы после аббревиатуры ИС.

Не ароматными травами
Велика жертва и славна:
Усердием горит она.
(ИС, 165–166).

Заглавием-адресацией Львов открывает посвящение В. В. Капнисту «Парисова суда» (1796): «Брату Василью Васильевичу творцу „Ябеды“ рапорт и приношение». В нем Львов возвращается к грубоватой поэтике стихотворения, обращенного к Митрофанову. Аллюзию к своей ранней комической опере поэт усиливает, надев на себя маску «Ваньки Ямщика», «с приписью подьячего сочинителя». ²² Такого персонажа в «Ямщиках на подставе» нет, но этот Ванька отчетливо причислен к тем, эпизод из чьей жизни представлен в пьесе. Именно от лица Ваньки написано посвящение, в котором намекается на причастность Капниста к этому творческому замыслу Львова:

В силу вашего веленья
Учинил я исполненье
И при сем вам подношу
Обыденную проказу:
«Суд Парисов» по заказу.
(ИС, 284; курсив автора).

Капнисту предлагается вынести и вердикт о достоинствах пьесы. При этом каламбурно обыгрываются названия двух пьес — «Ябеда» должна «покрыть» «Суд» до вынесения окончательного решения, т. е. деяние однозначно неправое должно первоначально одержать верх над «судом» во имя торжества справедливости. Столь замысловатым образом Львов выражает и восхищение комедией Капниста, и избегает приторности в обращении к другу, и подчеркивает игровой характер своих стихов.

Как я старался показать выше, посвящения Львова, столь несхожие между собой, неизменно имеют дружеский, чуждый прагматизма характер. Их главное назначение — выразить бескорыстное восхищение личностью адресата и подчеркнуть ее значение для созданного художественного произведения. Присущие устоявшемуся жанру посвящений самоуничижительные формулы Львовым либо пародируются, либо используются для

²² В. И. Даль отмечает два значения слова «припись». «Подьячий с приписью» — тот, кто «скреплял» бумаги, подписываясь на них снизу; «с приписью» также значило «с прозвищем» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1865. Т. 3. С. 395). Таким образом, Львов имел в виду: «Ванька по прозвищу „подьячий сочинитель“».

оттенения духовного превосходства адресата, а не его высокого общественного положения, как это предписывала сервильная практика.²³ Поэтика посвящений Львова оказывается в высшей степени близка поэтике его посланий, от которых их отличает лишь ярко выраженная функция перитекста. Они тесным образом (и именно художественно) связаны с посвящаемыми текстами и, запечатлевая их связь со столь ценимой автором личностью, высекают из основных текстов новые смыслы, способствуют усложнению перспективы их восприятия. Оригинальность достигаемых при этом художественных эффектов не в последней степени вызвана контрастностью избираемых Львовым повествовательских масок — посвяtitель предстает то любителем заливчатского народного пения, то чувствительным поэтом-мечтателем, то простоватым ямщиком, любителем бурлеска.

²³ В этом контексте любопытно упомянуть, что по крайней мере один раз самому Львову была посвящена книга вполне традиционным образом. Это «Подробный словарь для сельских и городских охотников...» (1791–1792. Ч. 1–2), составленный Николаем Петровичем Осиповым (1751–1799), знакомым Львова еще по кадетской школе для солдат гвардейских полков, где они в 1771 году совместно издавали рукописный журнал «Труды четырех общников». Посвящая «Подробный словарь», Осипов просил Львова «удостоить принять благосклонно сию жертву», упоминал о том, что Львов в свое время «посеял» в нем «склонность к переводам». Эта деятельность, признается Осипов, служила «не только приятным препровождением времени», но и составила к началу 1790-х годов «некоторым образом» большую часть его «содержания и доходов». Осипов отметил и роль Львова как советника, снабдившего его значительной частью источников при создании компилятивного труда (Там же. Ч. 1. С. [3]–[4]). По всей видимости, Львов также использовал свое влияние для того, чтобы «Подробный словарь» был напечатан.

К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ В. М. ПРОТОПОПОВА

В 1786 г. в Москве вышел напечатанный в типографии М. Пономарева небольшой роман «Лабиринт волшебства, или Удивительные приключения восточных принцев», обозначенный на титульном листе как «Сочинение В. П.».¹ Криптоним был раскрыт в «Опыте Российской библиографии» В. С. Сопикова,² назвавшего автором этого произведения Василия Михайловича Протопопова (1760–1810), в то время студента Славяно-греко-латинской академии.³ До переезда в Петербург,⁴ т. е. как раз в то время, когда вышла эта книжка, Сопиков состоял в дружеских отношениях с типографом С. И. Селивановским,⁵ а через него был, разумеется, знаком с Протопоповым, Е. А. Болховитиновым и Ф. Ф. Розановым, составившими в Академии небольшой товарищеский кружок. Поэтому свидетельство Сопикова заслуживает полного доверия и никогда не подвергалось сомнению.

Протопопов был, по всей видимости, любителем галантно-авантюрных, восточных и волшебных романов, повестей и сказок. По их образцу написан «Лабиринт волшебства». Сюжет складывается из мотивов и ситуаций, обычных для волшебных-рыцарских романов из собрания «1001 ночь» и для французских литературных волшебных сказок конца XVII–XVIII вв.

¹ См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725–1800. М., 1964. Т. 2. С. 483. № 5731. В дальнейшем сокращенно: СК с указанием номера записи.

² См.: *Сопиков В. С. Опыт Российской библиографии...* / Ред., примеч., дополнения и указ. В. Н. Рогожина. СПб., 1904. Ч. 3. № 5864.

³ О нем см.: *Словарь русских писателей XVIII века*. СПб., 1999. Вып. 2. С. 500–502.

⁴ Книжная торговля В. С. Сопикова в Петербурге открылась в 1788 г.

⁵ Записки Н. С. Селивановского // *Библиографические записки*. 1858. Т. 1. № 17. С. 517.

Стержень действия образует противоборство злого волшебника Абу Кули, ищущего гибели героев, и доброй феи Раги Муины, разрушающей его замыслы. Представлены все атрибуты, мотивы и ситуации тех жанров, которым подражал автор: бесчисленные волшебные превращения, сражения с чудовищами и великанами, магические талисманы, злые и добрые духи, огненные реки, заколдованные замки, подземные чертоги с садами, нападения разбойников, внезапные разлуки и неожиданные встречи. Роскошь великолепных дворцов, изобилие золота и драгоценных камней, журчащие водометы, цветы небывалой красоты, имена персонажей, поясняемые в подстрочных примечаниях, фразы на персидском языке, многочисленные реалии мусульманской религии и даже зороастризма — все это, в высокой концентрации насыщая текст, служит созданию восточного колорита, в который вторгаются тем не менее детали греко-римской античности.⁶

В любопытном предисловии к «Лабиринту волшебства», написанном в слегка балагурном тоне, защита развлекательного романа, служащего, по убеждению автора, преддверием к серьезным материям, выливается в утверждение земных радостей и чувств: «Что это? какой вздор! возразят мне почтенные Стоики, не оберешься от романов! Где ни ступишь, везде встречаются какие-то нежности и вздорная любовь! Все пошло колоритно. О прошедшие веки! О веки, в которых не знали того, что ныне называется просвещением, и жили благополучно! К просвещению доходят через тернии, да и рождается из него терние. Ныне всякой, умея только

⁶ Например, описание волшебного замка: «...представлю и объявлю подробно сие мое здание: все оно было создано из различных минералов, светящихся наподобие пламени, ворота его были из чистого золота, заперты Адамантовым замком, серебряные изваяны, представляющие лица всех волшебников в свете, окружили замок; вокруг их протекали два источника млека и меда. Яшмы, рубины, самериры и кораллы находились на их берегах и своими разноцветными колерами пленяли смотрящие на них глаза, во внутренности сего драгоценного здания находился водомет, из коего вместо воды истекала влага слаще Нектара, на крыльце их стоял железный Исполин, в правой руке держал он серебряный молоток, а в левой золотую доску, он был сделан вместо музыкантов, ибо естли вступать ногою на первую крыльца ступень, то скрытые пружины побуждали его ударить молотом в дощечку и чрез сие составлять приятную симфонию, посреди залы был разостлан златотканый ковер, по которому естли ударить лежащим подле его прутиком, то он преобращался в стол со сладчайшим кушаньем» (Лабиринт волшебства... М., 1786. С. 63–64). Примеры греко-римских реалий: «Когда пойдешь в страны, где Феб, оставя понт, / Восходит поутру на синий горизонт...» (С. 20); «Статуи различного пола людей и играющие у ног их тигры с агнцами казались быть оживленны и представляли век Астреи» (С. 25); «...увидел идущую навстречу мне прекраснейшую пастушку, прелестнейшую Граций, которых описывают Греческие и Римские древние стихотворцы» (С. 70).

лишь различать буквы, хватается за перо и, стесняя свой дух, пыщется, напрягается, силится и, паря своими мыслями под облака, низвергается в бездну, производя своим падением *ничто*... Словом, ни в чем нет следа истины.

Пошли наоборот все вещи в свете сем,
Все бред, и истины нельзя найти ни в чем.

Не горячитесь, Господа Любомудры, я уступаю всем вашим возражениям: но, признайтесь, не чувствуете ли вы *ничто*, рассуждая о ваших сбивчивых, запутанных и неудобопонятных предложениях? Вижу, какое удовольствие при слове *предложения* разливается на вашем угрюмом лице, и сие-то называется *ничто*. Вы теперь признались неприметным вам самим образом, что и вы в чем-нибудь вкушаете удовольствие, но сие удовольствие ваше в рассуждении нашего бывает грубо; мы, напротив того, находим удовольствие в том, что, прельщая наружность, удовлетворяем и внутренности, и сие-то значит нежность, истинное удовольствие и любовь... Но что? Вы опять заводите споры о сем слове! Так, прошу вас, если вы не хотите тревожить самих себя, не читайте сию подлежащую вам книжку; но пусть пользуются ею в праздное время только те, кои знают совершенно, что есть нежность и удовольствие, и пусть сии только ценят мое, произведенное воображением сочинение».⁷

Из этих насмешливых тирад просматривается, что в душе автора светские помыслы, настроения и чувства коренились очень прочно, занимали много места и проявлялись гораздо живее, нежели приличествало воспитаннику духовного учебного заведения, которому следовало бы, конечно, воспитывать в себе стойкость к мирским соблазнам. Роман совершенно лишен назидательности и потому оборачивается, с одной стороны, сугубо развлекательным чтением, вводящим в мир восточной экзотики и занимательных приключений, а с другой — апологией радостного мирозерцания, покоящегося на сознании того, что человеку правомерно искать в жизни удовольствия. Эта апология выражалась самым фактом существования подобного романа — тем, что нашелся беззаботный человек, его написавший, тем, что книга была издана и дошла до читателя, который в свободные свои часы может, забыв обо всем, уйти в увлекательный мир, ничего иного не преследуя, как доставить себе приятные минуты.

В октябре следующего, 1787-го, года М. Пономарев представил в цензуру книгу,⁸ в том же году и вышедшую из его типографии: «Любовь Пери-

⁷ Лабиринт волшебства... С. [I–III].

⁸ *Смирнов С.* Цензурная ведомость 1786–1788 годов // Оснадацатый век: Исторический сборник, издаваемый П. Бартевым. М., 1868. Кн. 1. С. 448.

андра и Финомены, исполненная чувствительных для нежных сердец приключений».⁹ На титульном листе сообщалось, что этот роман «сочинил В. П.». Поскольку годом ранее «Лабиринт волшебства» был представлен читателю как «Сочинение В. П.», то более чем вероятно, что повторенный криптоним должен был принадлежать одному и тому же лицу, хотя никто из биографов Протопопова, включая и автора данной заметки, не упоминает и ни один библиографический справочник не указывает это произведение среди ему принадлежащих.

«Любовь Периандра и Финомены» — это псевдоисторический галантно-авантюрный роман, какие наводняли европейскую литературу в последние десятилетия XVII и первые XVIII вв. Многими своими особенностями он близок «Лабиринту волшебства». Как произведения родственных жанров, оба имеют одну и ту же композиционную схему, по которой от автора излагаются только завязка, развязка и небольшие соединительные звенья, а основное повествование развивается в рассказах персонажей о своей судьбе и приключениях. Насколько автор первого романа хорошо владел реалиями восточного мира, настолько во втором проявляется немалая осведомленность в мифологических, географических и других реалиях греческой античности. Как и в «Лабиринте волшебства», они комментируются в подстрочных примечаниях.¹⁰ Очень сходны в обоих романах манера повествования и слог, в описаниях повторяются одинаковые образы, выраже-

⁹ См.: СК 3858.

¹⁰ Примечание к слову «Дельфы» раскрывает один из источников эрудиции автора «Любви Периандры и Финомены»: «Дельфы был великой Фоидской город в Ахаии. Он стоял на косогоре, и посредине горы Парнасса; славен оракулом Аполлона. Смотри Древнюю Историю г. Роллена» (Любовь Периандра и Финомены... М., 1787. С. 24). Все примечание почти слово в слово взято из раздела об оракулах в указанном фундаментальном труде, десять томов которого перевел на русский язык В. К. Тредиаковский (см.: *Роллен III. Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках.* СПб., 1760. Т. 5. С. 30). Некоторые примечания адресованы малообразованному читателю, например: «Аврора есть то же самое, что и утренняя заря» (Любовь Периандра и Финомены... С. 1); «Венера, богиня любви, забав, красоты и роскоши. Стихотворцы говорят, что она родилась из морской пены» (Там же. С. 2). Есть, однако, и такие, которые понять мог только тот, кто хорошо знал античную географию: «Колхида, Асийская страна близ Понта. Граничит к северу с горою Коразон, к востоку с Ибериею, к югу с Фосидою, а к западу Евксинским Понтом» (Там же. С. 11). Познания самого автора в этой области были несовершенны: снабдив в начале книги текст процитированным последним примечанием, он позже вложил в уста одного из героев фразу: «Наконец посетил я Колхиду, остров (курсив мой. — В. Р.) славный в свете златоунным овном, похищенным славным Язоном» (Там же. С. 89).

ния, штампы. Примером могут служить картины бури и портретные характеристики героинь:

Лабиринт волшебства

«...мрачные облака мгновенно покрыли небо, молния взблестала со всех сторон, морские волны, покрывшись седой пеною, начали угрожать своими страшными хребтами потоплением кораблю, матросы трепещущими руками собирали парусы, штурман перестал от ужаса править рулем, и судно наше стремлением многих вод понесло в неизвестную сторону. Все воздевали руки к небу, просили у пророка помилованию, но ничто не помогало: наконец большая мачта преломилась, снасти скрыпнули, потряслись, и корабль, приплывши к утесистому берегу, расселся». (С. 101–102).

«...румянец, играющий на ее щеках, превосходил Тирский пурпур, Гератские розы рождались на устах ее...» (С. 91).

«Платье на ней было из белого тонкого полотна, подпоясана розовою лентою, и на груди имела пучок роз, прекрасные ее светлорусые волосы, лежащие в беспорядке по открытым плечам и колеблемые играющими в них тихими зефирами, были увенчаны венком, сплетенным из разноцветных полевых цветков, румянец, играющий на ее щеках и устах, казалось, спорил о превосходстве своем с розами, вздымающимися от вздыхания на ее прелестной груди, блистающие глаза под бровями чернейшими Гебена не уступали очам прекрасных Гурий, обещанных Магометом мусульманам, правою рукою подпиралась она пастушеским посохом, а левою поддерживала на голове корзинку с плодами». (С. 70–71).

Любовь Перяндра и Финомены

«По сем ветр пременялся. Жестокий Борей гнал кучами пасмурные облака, кои, спираясь над кораблем, составляли ужасную мглу. Седая пена кипела под судном. Дождь, распростершийся по окрестным брегам, воздымал облака пыли на воздух. Страшные громовые удары, рассекая атмосферу, разливали повсюду трепет. В корабле все воздевали руки к небесам; умиловивляли Нептуна, повергая в бездну моря лучшие сокровища; но все было тщетно. Ужасный вихрь сломил большую мачту, и, вырвав у кормщика руль, лишил всех надежды на спасение». (С. 120–121).

«...румянец, превосходящий розы, играл на ее ланитах...» (С. 52).

«Представьте себе Грацию посредственного роста, коея голова увенчана прелестными темнорусыми волосами, покрывающими рамена и переплетенными фиолетовыми с золотом лентами, чело, искусно расположенное, по которому дугою извивающиеся, чернейшие Агата, брови украшали глаза. Лице, спорящее в белизне с лилеями, и щеки, покрытые восхитительным румянцем, с прекрасным носом, являли взирающим на нее очам живое изображение Богини утех. Неуступающие румянностью розам уста привлекали каждого из смертных украсть с них поцелуй. Они подобны были коралловому влагалищу, заключающему в себе чистые перлы, какие только может рождать море Егейское. — О небо! еще не все исчислил я ее прелести. Она улыбается. — Нежности с прекрасными Купидонами присутствуют на сей улыбке. Одним словом, самая невинность и удовольствие избрали ее себе жилищем». (С. 35–36).

Две параллели «Любви Периандра и Финомены» содержатся в более поздних сочинениях Протопопова, напечатанных два года спустя:

«Мрачная ночь распростирала свой звездный покров на тверди».¹¹ // «Мрачная ночь простерла звездную ризу на горизонте».¹²

«Неуступающие румяностию розам уста...»¹³ // «Уста твои являют / румяностию нежных роз».¹⁴

Совокупность общих признаков говорит *не более того*, что коль скоро Протопопов написал «Лабиринт волшебства», то из-под его пера *мог* выйти и такой роман, как «Любовь Периандра и Финомены». Среди них нет ни одного специфически характерного или резко индивидуального. Все они жанровые штампы: и композиция, и внешность героев, их манера изъясняться, их приключения, и декорации, в которых разворачивается действие, и слог повествования и описаний. Столь же много найдется общего между «Лабиринтом волшебства», «Любовью Периандра и Финомены» и другими подобными романами, вышедшими в те же годы.¹⁵ Но если само это сходство двух романов, будучи типологическим, не дает прочного основания для атрибуции, то по крайней мере оно подтверждает, что одинаковый криптоним, стоящий на двух титульных листах, вполне может принадлежать одному лицу, а это имеет значение важного косвенного свидетельства.

¹¹ Любовь Периандра и Финомены... С. 37.

¹² Протопопов В. М. К чему может служить досужное время?.. М., 1789. С. 6.

¹³ Любовь Периандра и Финомены... С. 36.

¹⁴ Протопопов В. М. К чему может служить досужное время?.. С. 149. В этом сборнике встречается также параллель «Лабиринту волшебства». В романе рассказывается о замке «на вершине горы Тавра» (Лабиринт волшебства... С. 62); в сборнике при «цветущей подошве горы Тавра» живет отшельник (Протопопов В. М. К чему может служить досужное время?.. С. 1).

¹⁵ См. характеристику их общих признаков: Сутовский В. В. Очерки из истории русского романа. СПб., 1909–1910. Т. 1. Вып. 1. С. 393–464; Вып. 2. С. 258–295. Выразительным примером жанровой общности может служить следующее описание внешности героини в романе, вышедшем в один год с «Лабиринтом волшебства»: «Светлорусые ее волосы, пущенные кудрями по стройным плечам, извивались, будучи трогаеты Зефирами; на самой главе лежал венок, несколько искосясь на правую сторону, сплетенный из роз, тулипанов, нарциссов и других цветов. Глаза ее подобны были двум большим кругам небесным; уста ее подобны прелестнейшей розе, которые украшали малой и несколько опустившийся подбородок, и на которых сидел амур; прелестные ее груди, покрытые белым флером, который тончайший зефир то подымал, то опускал, тихо дотрогиваясь оных; пухленькие руки, из которых в одной пук роз, а в другой был посошок, украшенной разными перевившимися то фиолетовыми, то розовыми, то синими, то голубыми лентами». (Одушевленная статуя, или Приключения маркиза де Алфонса и Луизы / Сочинена П. А. М.: Тип. Пономарева, 1786. С. 23–24).

В самом деле, выпуская «Любовь Периандра и Финомены» под своими инициалами, автор имел несомненную цель объявить о себе, пусть даже по каким-то соображениям в завуалированной форме. Если бы им был не Протопопов, а лицо, чьи имя и фамилия начинались с тех же букв, то, скрываясь под этими литерами, которыми только недавно был обозначен «Лабиринт волшебства», оно отдавало свой роман автору этого последнего. Такой поступок можно было бы ожидать лишь в том случае, если бы сочинения под криптонимом В. П. были очень популярны, и автор «Любви Периандра и Финомены» мог, его заимствуя, рассчитывать на особое внимание публики к своему творению. Поскольку, однако, ничего подобного не было, то ему уместно было подобрать себе иной псевдоним. Можно, правда, предположить, что второй В. П. просто не знал о существовании вышедшего годом ранее романа с теми же инициалами на титульном листе. Однако М. Пономарев об этом, несомненно, помнил; принимая рукопись, он обратил бы, конечно, внимание на совпадение и, наверное, обсудил бы его с автором.

Общий баланс доводов «за» и «против» приводит к заключению, что хотя принадлежность Протопопову романа «Любовь Периандра и Финомены» не может быть доказана с полной бесспорностью, эта атрибуция не просто имеет право на существование, но и вероятность ее справедливости представляется очень большой.

Как показал в своей фундаментальной монографии В. В. Сиповский, обычным, можно сказать — обязательным, сюжетно-организующим мотивом русского галантно-героического романа был злой рок, разъединяющий влюбленных и ввергающий их в разнообразные зловключения. Этой же пружинкой получает свой исходный толчок и поддерживается в развитии на всем протяжении действие «Любви Периандра и Финомены». Венера, явившаяся взору царевича Периандра на колеснице в окружении пышной свиты, вещает ему, что царевна Финомена, в чьих чувствах он сомневался, его любит, но ему «к достижению сего счастья предписаны судьбою <...> препоны».¹⁶ Царевич следует за возлюбленной, которую непреклонный отец отправляет в другую страну, где она должна сочетаться браком с юношей, назначенным ее родителем ей в мужа. Этой завязкой читатель вводится в традиционный для жанра широкий географический ареал, где странствуют герои, то разлучаясь, то случайно встречаясь на короткое время, чтобы опять надолго потерять друг друга. На своем пути они сталкиваются с такими же влюбленными скитальцами, с которыми обмениваются рассказами о том, что каждому довелось испытать и пережить. Разнообразными

¹⁶ Любовь Периандра и Финомены... С. 4–5.

реалиями создается колорит Древней Греции: всевозможными мифологическими аллюзиями, упоминаниями исторических лиц и местностей, описаниями храмов, зданий, садов, обрядов.¹⁷ Волшебный элемент соответствует верованиям и преданиям древних греков: явление богов людям; прорицания оракулов, устные, получаемые в храме, и письменные, начертанные на приносимых ветром листьях; скрытый от людских взоров остров, где прекрасная волшебница своими чарами удерживает потерпевших кораблекрушение. Все это не было, впрочем, изобретено самим Протоповым, а черпалось им в арсенале традиционных тем, образов, мотивов, художественных средств и приемов данного жанра.

В «Лабиринте волшебства» господствовала сказочно-приключенческая стихия, а любовная тема занимала очень небольшое место: она развивалась бегло лишь на нескольких страницах, по приближении к концу. В «Любви Периандра и Финомены» акценты расставлены иначе. Волшебное и чудесное играет вообще незначительную роль, а весьма обычный для романов подобного толка, но в этом случае довольно скудный набор «коловратностей играющая судьбы»¹⁸ (похищения, пираты, кораблекрушение, изгнание, остановленная в последний момент казнь и т. д.)¹⁹ сконцентрирован преимущественно в последней трети. На предшествующих же страницах, составляющих большую часть произведения, над авантурным элементом преобладает изображение любовных чувств и переживаний. Герои рассказывают о первых своих встречах с возлюбленными, муках ревности и сомнений, нежных объяснениях при свиданиях и в галантных письмах, бессонных ночах, клятвах верности, восторгах и печалях. Все любовные коллизии развиваются по одинаковой схеме: герой влюбляется с первого взгляда, но вначале испытывает сомнения в чувствах девушки, затем следует период взаимных признаний и уверений, после чего возникает разлучающее препятствие. Каждой стадии соответствует своя гамма излияний и настроений.

«Любовь Периандра и Финомены» предназначалась, как указывалось в подзаголовке, для чтения «нежным сердцам», которым были обещаны «чувствительные приключения». Не случайно появились на титульном листе эти штампы сентиментальной литературы. Уходя своими корнями

¹⁷ Например, статуя Аполлона в Дельфийском храме (Любовь Периандра и Финомены... С. 24–25), живопись храма Венеры на Кипре (С. 26–27), фонтан, окруженный скульптурными изображениями богов (С. 49–52), спортивные игры (С. 67–70), жертвоприношение (С. 110–113) и др.

¹⁸ Любовь Периандра и Финомены... С. 87.

¹⁹ Ряд этих мотивов присутствует и в «Лабиринте волшебства».

на много десятилетий назад, психологический роман Протопопова оказался тем не менее податливым новейшим веяниям. В старые одежды облеклась разновидность сентиментализма, своеобразно преломившегося в «низовой» литературе.

«Нежным сердцем» обладают все главные персонажи романа, на страницах которого ручьями текут слезы, исторгаемые из глаз при каждой разлуке.

«Я нетерпеливо ожидал назначенного времени и сердился на то, что часы медленно проходили. Наконец настала драгоценная для меня минута, и я пошел известным только мне путем к Финомене. Вошел в ее комнаты, увидел ее сидящую на софе, орошенную слезами. — Ах, дражайший Принц, вскричала она, меня увидя, сей час нашего свидания будет последним. Жестокий рок разлучает нас вечно. Небо тому свидетель, что мне жизнь тягостна без любезного Периандра. — Не крушись, прекрасная Финомена, говорил я, умеряя свою печаль, может быть, боги прекратят гонения над двумя любящимися сердцами и умилосятся, взирая на наши стенания. — Восхитительные поцелуи прервали мои слова, и по многом пролитии слез, получив клятвы о верности, я расстался с моею любовницею. Леонард, подражая мне равным образом, проливал слезы, разлучаясь с Иринеосою, которую начинал любить».²⁰

Подобно восточному чародейству и великолепию «Лабиринта волшебства», галантная чувствительность принцев и принцесс на красочном фоне античной Греции вводила читателя в мир чистого удовольствия, не смешанного с назиданием. Изъясняемая в изящных речах, причиняющая бурную радость и жестокие страдания, побуждающая покрывать огромные пространства, претерпевать всевозможные невзгоды и лишения — такая любовь, пусть изображенная и не очень искусно по критериям высокого литературного мастерства, противостояла разработанной христианской практической моралью концепции спокойного, уравновешенного и благоразумного чувства, которое назначено природою лишь к тому, чтобы в должный момент привести человека к брачному союзу, необходимому для продолжения рода. Роман того типа, к которому принадлежала «Любовь Периандра и Финомены», обвинили с самого его зарождения в том, что он разжи-

²⁰ Любовь Периандра и Финомены... С. 83–84. Ср.: «Ах, дражайший Гиппомен, говорила она мне, проливая слезы, судьба начинает завидовать нашему пламени... О Боги! на то ли вы соединили столь нежные сердца, дабы терпеть им жестокую разлуку? О время, источник всех моих бедствий! — Умеряйте ваше сокрушение, начал я, не могши удержать текущие слезы; разве боги столь немилосердны, что они допустят погибнуть двум пламенеющим любовию сердцам?..» (Там же. С. 105–106).

гает у молодых людей любопытство и страсти, отвлекает их от серьезных помышлений.²¹ К 1780-м годам аналогичные упреки обрушивались уже на другие, современные жанры романа. Но у русского «низового» читателя и, в частности, среди молодых слушателей Академии архаическая галантность, приправленная чувствительностью, по-прежнему пользовалась успехом и производила, вероятно, именно то действие, за которое на этот род литературы так рьяно нападали ревнители нравственности и духовной чистоты.

²¹ *Сиповский В. В.* Очерки из истории русского романа. Т. 1. Вып. 1. С. 25–29.

**«СВОБОДНОСТЬ К ТАКОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ».
СТРАНИЦА ИЗ ТЕТРАДИ XVIII ВЕКА**

Эта тетрадь, заполненная записями почерком, близкими к полууставу, известна исследователям. Она хранится в Отделе рукописей Российской Национальной (бывшей Публичной) библиотеки в Петербурге (шифр: Q.XV.86). Автор записей — деятельный литератор, переводчик, географ, чиновник Петр Иванович Рычков (1712–1777), первый член-корреспондент Петербургской Академии наук.¹

Тетрадь не имеет даты, на первом листе сохранилась лишь владельческая надпись Василья Басмина, помеченная 23 ноября 1797 г. (указание на то, что рукопись долго еще находила читателей). Тетрадь заполнена небольшими текстами (от полустраницы до двух-трех страниц), пронумерованными — всего записей сто двадцать две на восьмидесяти шести листах. Записи представляют собой краткие поучительные истории из античной мифологии и биографий царей и императоров Древнего мира. Как сказано в авторском предисловии, тетрадь «переведена из разных немецкого языка книжиц чрез Петра Рычкова, Оренбургской экспедиции бухгалтера» (л. 2). Поскольку автор еще не означил своего чина «коллежский советник», полученного в 1751 г. и упомянул «Оренбургскую экспедицию», т. е. предприятие, возглавлявшееся И. К. Кирилловым и затем В. Н. Татищевым в 1734–1739 годах и имевшее целью изучение области киргиз-кайсаков, можно предположить, что записи в тетради сделаны Рычковым в эти годы, во всяком случае до образования Оренбургской губернии (1744), когда Рычков стал служить ассессором в губернской канцелярии.

¹ См.: Кукушкина Е. Д. Рычков П. И. // *Словарь русских писателей XVIII века*. СПб., 2010. Вып. 3. Р–Я. С. 78–83.

«Немецкого языка книжицы» — это, по всей вероятности, выпуски моралистических еженедельников, вошедших в моду в Европе и, в частности, в Германии в первой половине XVIII в. после появления этого раннего журнального жанра в Англии. Некоторые немецкие журналы этого рода достигали очень больших по тем временам тиражей. Так, вышедший в Галле и Лейпциге еженедельник «Разумные порицательницы» («Die Vernünftigen Tadlerinnen», 1725–1726) печатался в количестве двух тысяч экземпляров, а тираж гамбургского еженедельника «Патриот» («Der Patriot», 1724–1726) доходил почти до шести тысяч. В Лейпциге во времена молодости Рычкова издавался также журнал «Честный человек» («Der Biedermann», 1727–1729). До Москвы 1720-х годов, где тогда жил Рычков и где он обучался немецкому языку, эти журналы, несомненно, доходили, если помнить о большой немецкой колонии в старой столице.

Если переводы молодого Рычкова появились первоначально как упражнения в знании немецкого языка, то скоро они превратились в исполнение явной просветительской миссии — которая могла быть подсказана общей направленностью моралистических еженедельников. Тетрадь Рычкова именуется «генварская треть», т. е. задуманы были по меньшей мере еще две такие же тетради, написаны они были или так и остались замыслом — неизвестно.²

Автор-переводчик настаивает на свободном выборе «материй» и готов полемизировать с «приятнейшим читателем», если тому не понравится что-либо в его переводах. Рычков сетует на отсутствие досуга, на малую «свободность к таковым упражнениям» (л. 3 об.), однако занимается ими с большим усердием, ибо считает, что его «собрание кратких и полезных повестей, разные стихотворцев языческих басни <...> могут служить в полезные услуги читателям» (л. 2).

Речь шла, может быть, не столько о полемике (едва ли Рычков в те годы рассчитывал на печатание своих переводов), сколько о позиции молодого автора. Наблюдательный глаз и живой ум нашли в немецких «книжках» укрепляющийся протестантский и раннепросветительский рационализм. Напомним, что тогда только что появились первые труды Христиана Вольфа — его «Разумные мысли о Боге, мире и человеке» (1720). Новый взгляд на действительность мог увлечь юношу Рычкова (ему в это время было около двадцати лет). Некоторое просветительское вольнодумство ощущается и в желании оказывать «полезные услуги» гипотетическим читателям, и в готовности спорить с ними, и в некоторых текстах, включенных в «генварскую» тетрадь. Из этих текстов, в которые еще предстоит

² См.: Кукушкина Е. Д. Рычков П. И. С. 82.

вчитываться, выберем лишь один пример, который, будь он напечатан, едва ли прошел бы через церковную и светскую цензуру.

Приведем перевод, который значится под номером 58 (л. 40 об.), сохраняя, по возможности, его довольно причудливую орфографию и пунктуацию:

«Широта Чермнаго моря идеже сынове израительски посуху прошли поптоломиеву ісчислению — бяше 15 немецкихъ миль [или 105 версть российскіхъ<]> которои во единъ день ісполнить было имъ весма невозможно:».³

Действительно, Библия говорит об *одном дне* перехода бежавших из Египта израильтян через Красное море, начиная от «утренней стражи»: «И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян...» (Исход, гл. 14, стих 30). Рычков не думает об иносказательном понимании библейского текста, он не знает особенностей древней северной заболоченной части Красного моря, он мыслит прямолинейно и рационально, как мыслил автор переведенного им немецкого текста. Переводчик лишь добавляет к аргументации свой пересчет прусских миль на отечественные версты, приближая ее тем самым к русскому быту и невольно усиливая ее критическую остроту. В этой критике библейского текста была юношеская смелость, но также и отголосок немецкой вольфианской критики Библии. «Библейские повествования о чудесах утрачивали свою убедительность в ходе приложения к ним законов природы и все меньше годились для доказательства Откровения. Они все решительнее отодвигались в сторону на основании пересмотра онтологии и теории познания», — пишет исследователь протестантского рационализма эпохи Просвещения.⁴

Здесь следует снова упомянуть имя Х. Вольфа, учителя М. В. Ломоносова (с Ломоносовым Рычков был знаком лично). Рационализм Вольфа, его физико-математический метод познания, оставивший след в немецкой классической философии (Кант, Гегель) и, несомненно, в русской науке, вполне подходил Рычкову с его интересом к естествознанию. Так, словно в капле воды из океана, — в малой детали из рукописной тетради первой трети XVIII столетия сквозит целая эпоха, ее новая, «разумная мысль», мировосприятие Просвещения.

³ Расчет верен, если принять, что прусская миля составляла приблизительно семь верст. «Птолемеево исчисление» — расчеты древнегреческого геометра и астронома Клавдия Птолемея (ок. 90 — ок. 168).

⁴ Gawlick G. Bibelkritik // Lexikon der Aufklärung / Hrsg. von W. Schneiders. München, 1995. S. 65.

**«РУССКИЙ ВЕРТЕР» — МАСЛОВ ИЛИ МАТВЕЕВ:
К ВОПРОСУ О ПРОТОТИПЕ ГЕРОЯ ПОВЕСТИ
А. И. КЛУШИНА «ВЕРТЕРОВЫ ЧУВСТВОВАНИЯ,
ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ М.»**

Повесть А. И. Клушина «Вертеровы чувствования, или Несчастный М., оригинальный анекдот» (СПб., 1802) всегда занимала особое место среди повестей, написанных в России под влиянием повести И. В. Гете «Страдания юного Вертера», вызывая интерес не только как произведение литературы, но и как документ «бытового вертерианства».¹ Вопрос о прототипе главного героя обсуждался, но решен не был. Привычно упоминается фамилия Маслова со ссылкой на письмо Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву.² Реальная фигура с такой фамилией и такой судьбой так и не была выявлена; в работах последних лет зазвучала даже нота сомнения в ее существовании: «современники склонны были искать прототип героя повести».³

Однако имеются и другие упоминания эпизода, положенного в основу сюжета повести А. И. Клушина, в том числе вышедшие из среды социально более близкой и автору и герою повести, чем Н. М. Карамзин или И. И. Дмитриев.

Один из печатных источников, донныне не привлечший внимания исследователей данного сюжета, книга Ф. М. Рындовского «Печальные, весе-

¹ *Жирмунский В. М.* Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 49–60

² *Карамзин Н. М.* Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 37 025

³ *Степанов В. П.* А. И. Клушин // Словарь писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2. К–П. С. 63–64

лые и унылые тоны моего сердца» (СПб., 1809) — сборник стихотворений и прозаических этюдов, пронизанный настроениями меланхолии.⁴

Биографический, бытовой характер произведений подчеркивается обозначением места и даты написания многих произведений. Достаточно широкая география соответствует реальной биографии автора (Чернигов, Вильно, Петербург, с. Радьковска, г. Березна и даже «местечко Алкеники монастырь Францисканцев» и «С. Петербург, кладбище Смоленское»).

В прозаическом этюде «К ней», написанном в Вильно, предположительно, в 1806 г. (эта дата стоит на других вильнюсских текстах) описаны страдания в разлуке с любимой: «Часто, очень часто в минуты меланхолических припадков души моей я выхожу из дому и иду без всякой цели, без всякого плана — куда глаза глядят.

Нешастный Матвеев и Сабина Герфельд сопутствуют мне в часы горести моей. О, как я благодарю случай, доставивший мне знакомство с ними! <...>

Тщетно между живыми, окружающими меня существами искал я человека, которого бы сердце понимало язык осиротевшей любви моей, которого бы душа могла делить со мною горестные чувствования моей души. Сердца их хладны, души нечувствительны — я прибегнул к мертвым: и они сделались верными, неразлучными моими друзьями. Милый Матвеев! кого не тронет несчастная участь твоя? а) Ты умел любить, умел быть любимым. Жестокая гордость людей старалась разорвать неразрывные узы невинных сердец ваших; и ты во гробе. Лучшей участи ты был достоин — любовь проливает слезы над гробом твоим. Здесь — далеко от гробницы твоей проливаю и я слезы горести об несчастном жребии твоём и благодарю природу, что она дала мне сердце».⁵ В подстрочном примечании — прямое указание на повесть Клушина: «а) Вертеровы чувствования или несчастный М., оригинальный анекдот».⁶

Второй литературный источник вдохновения Рындовского — русский перевод некогда популярного, ныне забытого романа Реверони де Сен Сира (1767–1829) «Сабина Герфельд или Опасности воображения, прусские письма, собранные гм. Сен Сир. Перевод с французского» (М., 1802) — история трагической любви, заканчивающейся сумасшествием главного

⁴ В справочнике З. В. Житомирской «Иоганн Вольфганг Гете. Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке. 1780–1971» (М., 1972) книга Ф. М. Рындовского не учтена.

⁵ *Рындовский Ф. М.* Печальные, веселые и унылые тоны моего сердца. СПб., 1809. С. 30–31. В цитате сохраняется пунктуация оригинала.

⁶ Там же. С. 31.

героя, а затем сумасшествием и гибелью героини. Характер Сабины имеет черты отдаленного сходства с Шарлоттой Гете (верность нелюбимому мужу). Однако построение сюжета (одна из причин катастрофы, постигшей влюбленных, — сложная и циничная интрига третьего лица), скорее, вызывает в памяти «Опасные связи» Шодерло де Лакло.

Любопытно, что Версен, герой романа Реверони, посещая поместье Сабины в ее отсутствие, отмечает: «я искал здесь, но тщетно, Вертерова праха».⁷ И Рындовский не только уверенно называет фамилию героя повести — Матвеев, а не Маслов, но и отмечает, что находится в Вильно, вдалеке от его могилы, то есть знает о ее местонахождении. Ощущение подлинности, точной топографии возникает и при чтении стихотворения Н. И. Гнедича на тот же сюжет «Стон при гробе М-а», опубликованного в составе его раннего сборника «Плоды уединения» (М., 1802):

Теперь у холодной сей могилы
Сию, с гитарою в руках.⁸

Федор Михайлович Рындовский (1783–1839) человек в литературе не случайный, фигура во многих отношениях любопытная. Сын священника, дослужившегося до потомственного дворянства, врач по образованию. Учился в Черниговской семинарии, затем в Медико-Хирургической академии, с 1805 лекарь, с 1809 штабс-лекарь. В 1811 г. был откомандирован в Тетюшское рекрутское депо, расположенное в Казанской губернии, затем вместе с Депо переведен в Таганрог. В 1815 г. назначен в «Казанскую военную гошпиталь». С 1819 г. в отставке по болезни.⁹

Во время пребывания в Казани Рындовский познакомился с семьей Панаевых и в 1818 г. женился на Поликсене Ивановне Панаевой (1783–1848), второй дочери Ивана Ивановича Панаева, сестре поэта В. И. Панаева. Вместе с имением вдовы И. И. Панаева Надежды Васильевны (урожденная Страхова, родственница Г. Р. Державина) унаследовал «весь архив Панаевых», в котором «между прочим, были многочисленные письма Державина и его краткий дневник, веденный в юности — и все это сгорело неиспользованным в начале 1890-х годов, оставшись неизвестным Я. К. Гроту».¹⁰

⁷ *Реверони де Сен Сир*. Сабина Герфельд или Опасности воображения, прусские письма, собранные гм. Сен Сир. Перевод с французского. М., 1802. С. 116.

⁸ *Гнедич Н. И.* Плоды уединения. М., 1802. С. 74.

⁹ *Лихачев Н. П.* Генеалогическая история одной помещицкой библиотеки // Рус. библиофил. 1813. № 5, сентябрь. С. 59–60; *Николаев С. И.* Рындовский // Рус. писатели 1800–1917: биографический словарь. М., 2007. Т. 5. С. 410–412

¹⁰ *Лихачев Н. П.* Генеалогическая история одной помещицкой библиотеки. С. 60–61.

Рындовский был близок Обществу любителей российской словесности при Казанском университете, печатался в «Благонамеренном», позже, уже в начале 30-х годов XIX в., участвовал в журнале «Заволжский муравей». Скончался в 1839 г., в бедственном положении, продав за бесценок казанский дом, но сохранив библиотеку и архив, позднее все же утраченные.¹¹ Подробности последних лет его жизни находим в повести Де Пуле «Отец и сын», опубликованной в 1875 г. в журнале «Русский вестник».

Итак, источник достаточно надежный. Рындовский, разумеется, мог знать историю, положенную в основу сюжета повести Клушина, не понаслышке. Другое дело, что фамилия Матвеев распространена не менее, чем Маслов. Конкретная фигура, подходящая на роль прототипа, в этом случае также не выявляется. Однако книга Рындовского дает новое направление поискам.

Мне неизвестно, были ли знакомы А. И. Клушин и Ф. М. Рындовский — автор и читатель повести. Любопытно, что их имена сблизилась в блестящей статье Н. П. Лихачева «Генеалогическая история одной помещицкой библиотеки», посвященной истории родовой библиотеки Лихачевых.¹²

В полянской библиотеке Лихачевых имелась принадлежавшая А. И. Клушину книга с автографом И. А. Крылова. Это первый том басен Ж. Лафонтена «Fables choisies, mises en vers par monsieur de la Fontaine», изданных в Лозанне в 1772 г. На экземпляре имеются стихотворная надпись И. А. Крылова и помета А. И. Клушина: «подарена любезным другом Иваном Андреевичем Крыловым июля 29 дня 1792 г. в бытность в типографии; по причине нашей разлуки, на время; а может быть — судьбе одной известно». Обе записи были впервые опубликованы еще Лихачевым в 1886 г.¹³ При подготовке издания «Стихотворений» И. А. Крылова в «Большой серии Библиотеки поэта» автограф Крылова был воспроизведен по оригиналу, то есть записи на книге Ж. Лафонтена, хранившейся тогда у В. А. Десницкого.¹⁴ В 1963 г. библиотека В. А. Десницкого поступила в РГБ, где ныне в фонде Отдела рукописей и находится книга.

По предположению Н. П. Лихачева, принадлежавшие Клушину басни Лафонтена с автографом Крылова попали в полянскую библиотеку Лихачевых при Александре Логиновиче Лихачеве (1752–1814).¹⁵ Но это могло произойти и позднее, когда в библиотеку Лихачевых влились рукописи

¹¹ Лихачев Н. П. Генеалогическая история одной помещицкой библиотеки. С. 62.

¹² Там же. С. 5–101.

¹³ Там же. С. 46–47.

¹⁴ Крылов И. А. Стихотворения. Большая серия Библиотеки поэта. Л., 1954. С. 431, 639.

¹⁵ Лихачев Н. П. Генеалогическая история одной помещицкой библиотеки. С. 46.

Рындовского и экземпляры его произведений с автографами. Эти поступления связаны с именем внука А. Л. Лихачева, коллекционера Федора Семеновича Лихачева (1795–1835), «свояком» которого был Рындовский (Ф. П. Лихачев был женат на сестре поэта Г. И. Панаевой).¹⁶ Так, ныне хранящийся в Библиотеке Академии наук экземпляр книги Рындовского «Печальные, веселые и унылые тоны моего сердца» имеет владельческую помету «Федора Лихачева».

Книга Рындовского заслуживает хотя бы беглого упоминания на страницах «русской вертерианы». Это одно из многих свидетельств того глубокого впечатления, которое произвела судьба М. на самые широкие круги русского общества. И хотя прототип героя повести А. И. Клушина по-прежнему не раскрыт, поиски должны быть продолжены.

Связь книги Ф. М. Рындовского с повестью А. И. Клушина была выявлена в ходе подготовки «Сводного каталога русской книги 1801–1825 гг.». Возможно, имеет отношение к данному сюжету и стихотворение уроженца Оренбургской губернии А. П. Крюкова «Могила М.», опубликованное в 1822 г. в журнале «Благонамеренный» и содержащее следующую зарисовку с натуры:

Чей холм одинокий под ивой густою
Таится в долине как сырый пришлец?
Здесь в тихой могиле, заросшей травой.
Спит юный певец.¹⁷

Стихи А. П. Крюкова и Н. И. Гнедича, не учтенные, как и книга Рындовского, в библиографическом указателе З. В. Жирмунской, позволяют предположить, что могила героя повести А. И. Клушина не просто существовала, но долгие годы оставалась местом паломничества. Особенно убедителен написанный белым стихом «Стон при гробе М-а» Н. И. Гнедича, уже упоминавшийся в начале моей заметки. Стихотворение содержит выразительную картину залитого лунным светом кладбища, биографические подробности:

Приди, царица бледна ночи,
Луна, печальных томный друг!
Приди грустить о друге —
О нежном и несчастном М-а.
.....

¹⁶ Там же. С. 56–58, 67–68.

¹⁷ Благонамеренный. 1822. Ч. 19. № 29. С. 85 (раздел «элегии»); Учтено в «Сводном каталоге сериальных изданий» (СПб., 1997. Т. 1. № 03384). Биографию А. П. Крюкова сост. В. Э. Вацуру см.: Рус. писатели 1800–1917: биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 185–186.

Среди цветущих юных лет
Любовной страстью наслаждался,
Любил он страстно милу Со.¹⁸

Еще один источник, который мог бы оказаться полезным в поисках прототипа повести А. И. Клушина — либретто балета-пантомимы «Русский Вертер» И. Вальберха. Хотя в начале XIX в. «много экземпляров» либретто хранилось в бюро петербургской квартиры известного русского балетмейстера, оно не было обнаружено в фондах библиотек-участниц проекта по подготовке «Сводного каталога русской книги 1801–1825 гг.». ¹⁹ Как отмечает Ю. Слонимский, «одним из первых в Европе и первым в России, Вальберх ставил балет из современной жизни (<... > с увлекательным названием „Новый Вертер“. Здесь Вальберх впервые ввел современные костюмы». ²⁰ Премьера балета на музыку А. Н. Титова состоялась в 1799 г. в Петербурге; в 1808 г. он был поставлен в Москве. Вальберх был уверен, что балет будет особенно интересен «для здешней [московской. — И. Ф.] публики», поскольку в основу сюжета положен «анекдот, случившийся в Москве» (письмо жене от 14 янв. 1808 г.). ²¹ Балет имел успех, однако смелая попытка «танцевать во фраках» вызвала неоднозначную реакцию, и больше Вальберхом не повторялась: «когда я предпринял сделать другой нравственный балет, не осмелился, однако же, на фраки, а оделся и одел других в испанский костюм». ²² В либретто двух своих балетов, «Увенчанная благодать» (СПб., 1801) и «Жертвоприношение благодарности» (СПб., 1802) Вальберх включил стихи Клушина, что говорит о его интересе к творчеству последнего. ²³

Русские библиотеки хранят в себе еще немало тайн. Возможно, в ходе подготовки Сводных каталогов русской книги и русской периодики первой четверти XIX в. удастся обнаружить не только новые отголоски драмы, положенной в основу сюжета повести А. И. Клушина, но и новые данные о ее прототипе.

¹⁸ Гнедич Н. И. Плоды уединения. С. 72–73.

¹⁹ Вальберх И. Из архива балетмейстера: Дневники. Переписка. Сценарии. М.: Л., 1948. С. 100.

²⁰ Слонимский Ю. У колыбели русской Терпсихоры // И. Вальберх. Из архива балетмейстера: Дневники. Переписка. Сценарии. С. 15; см. также: Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л., 1959. С. 450–451.

²¹ Вальберх И. Из архива балетмейстера. С. 100.

²² Там же. С. 166–167.

²³ Сводный каталог русской книги 1801–1825. Т. 1: А–Д. М., 2000. С. 942, 951.

МЕМУАРЫ АННЫ ЕВДОКИМОВНЫ ЛАБЗИНОЙ: МЕЖДУ ЖИТИЕМ И ПРАВОУЧИТЕЛЬНЫМ ТРАКТАТОМ

Мемуары Анны Евдокимовны Лабзиной (1758–1828), изданные впервые в 1903 г., стали предметом пристального научного внимания с середины 1990 гг.¹ После работы Ю. М. Лотмана,² вызвавшей интерес к ним, они несколько раз издавались на русском и английском языках, затем были предложены метатексты, связанные с гендерной проблематикой, в русле которой рассматривается история молодости мемуаристки, и с масонской литературой.

Интерес к запискам Лабзиной вполне оправдан. Это один из редких мемуарных текстов, созданных русской женщиной XVIII века. Его автор — обыкновенная средняя дворянка, а не коронованная особа, как Екатерина II, или активная участница политических событий, как княгиня Е. Р. Дашкова. Не была Лабзина ко времени создания записок и жертвой политических превратностей, как княгиня Н. Б. Долгорукая. Хотя впоследствии Лабзина и разделит ссылку своего второго мужа, в записках она повествует о более раннем периоде своей жизни и пишет их задолго до опалы А. Ф. Лабзина в 1822 г. Автобиографический рассказ Лабзиной ценен сообщаемыми ею сведениями о дворянском быте и нравах. Многие исследователи видят в этом его главное достоинство. От Лабзиной мы узнаем о семейных отношениях

¹ Первая публикация текста Б. Л. Модзалевским относится к 1903 г., а в 1914 г. было осуществлено второе издание мемуаров Лабзиной. Текст дважды издавался на английском в 1974 и 2001 гг., а новое русское издание относится к 1996г. (*Лабзина А. Е. Воспоминания // История жизни благородной женщины / Вступ. ст., примеч. В. М. Боквой. М., 1996. С. 15–88*).

² *Лотман Ю. М. Две женщины // Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994. С. 287–313.*

среднего дворянства в России второй половины XVIII в.: о воспитании девиц; об условиях вступления в брак; о правилах поведения замужней женщины и о супружеских отношениях. С этой точки зрения рассматриваемые мемуары действительно являются бесценным источником для гендерных исследований. Однако мемуары Лабзиной представляют интерес и своей интроспекцией, стремлением повествовательницы показать изменения собственной личности, сохранившей, несмотря на все испытания, воспитанные в ней с детства нравственные основы.

Автобиографические записки Лабзиной представляют несомненную ценность и как памятник русского масонства. Они своего рода автожитие, рассказывающее о духовном подвиге во имя Бога. Большинство издателей ее мемуаров отмечают не только длительное супружество с одним из лидеров русского масонства конца XVIII — первых двух десятилетий XIX века Александром Федоровичем Лабзиным, но и интерес Лабзиной к руководимой им ложе, ее активную помощь в издании под его руководством масонской литературы.³ О почтении к Анне Евдокимовне масонов свидетельствует торжество по поводу 25-летия ее брака с Лабзиным, состоявшееся 14 октября 1819 г. Тогда ей была поднесена пара масонских перчаток в знак признания ее вклада в деятельность вольных каменщиков.⁴ В записках отчетливо различим ряд фундаментальных масонских мотивов, хотя они и сочетаются с традиционной житийной топикой.

Впервые на сходство модели повествования в мемуарах Лабзиной с агиографией указал Лотман: «Мемуары Анны Евдокимовны Лабзиной (по первому браку Карамышевой) правильнее было бы назвать „житием, ею самой написанным“».⁵ Исследователь рассматривает ее записки в контексте житий протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. Мнение о соответствии текста с житиями и апокрифами все заметнее утверждается в комментариях к новым изданиям мемуаров.⁶ Американские исследователи

³ *Модзалевский Б.* Воспоминания А. Е. Лабзиной // Labzina Anna Evdokimovna. *Vospominaniia, 1763–1819.* SPb., 1914; переизд.: *New Introduction by Judith C. Zacek,* Cambridge, Mass, 1974. P. XVIII.

⁴ *Kochetkova N. D.* Les femmes et la franc-maçonnerie russe du XVIII siècle // *Slavica Occitania.* Toulouse. 2007. 24. P. 190–191. Г. Маркер и Р. Мей опубликовали в качестве приложения к публикации мемуаров отрывок из протокола ритуала, на основании помещенного в начале XX века в «Русском архиве» очерка Т. Соколовской (*Days of a Russian Noblewomen. The Memoirs of Anna Labzina / Ed. and translated by Gary Marker and Rachel May,* Northern Illinois University Press, Chicago, 2001. P. 145–149).

⁵ *Лотман Ю. М.* Две женщины. С. 301.

⁶ *Бокова В. М.* Три женщины // *История жизни благородной женщины.* М., 1996. С. 5.

находят аналогию определенных эпизодов (посещения заключенных и оказанной им помощи) с апокрифом хождения Богородицы по мукам.⁷ Но хотя вопрос о следовании агиографическим повествовательным моделям и был поставлен, он до сих пор подробно не рассматривался, и особенности мемуарного рассказа Лабзиной пока детально не анализировались.

Мемуары были написаны в 1810 г., задолго до опалы на Александра Федоровича. Еще Б. Л. Модзалевский отмечал хорошо продуманную и спокойную работу над текстом: «Судя по почерку, везде ровному, спокойному и твердому, Анна Евдокимовна писала свои воспоминания не торопясь, но в течение небольшого промежутка времени, отдавшись единственно желанию вспомнить тяжелое прошлое и, откровенно рассказав о нем, сравнить его со счастливым настоящим».⁸ Однако мемуаристка так и не доходит до описания своего брака с А. Ф. Лабзиным, оборвав повествование. Мемуары остались незаконченными. По-видимому, описание «счастливого настоящего» и не входило в ее задачи. Оно противоречило бы агиографическому дискурсу.

Гари Маркер и Рейчел Мей обратили внимание на то, что при работе над мемуарами Лабзина была сильно ограничена в образцах мемуаристики, на которые могла бы ориентироваться. По свидетельству выдающегося знатока русской мемуаристики XVIII и XIX веков А. Г. Тартаковского, до 1810 г. было опубликовано около десятка русских мемуарных текстов, но из женских воспоминаний к тому времени были напечатаны лишь записки Н. Б. Долгорукой.⁹ Уже Лотман соединил в своем очерке двух мемуаристок — Долгорукую и Лабзину, показав на их примере историко-психологическую реальность русской культуры XVIII века и разные противоборствующие друг другу традиции женского воспитания. Американские исследователи выявили ряд мест в мемуарах Лабзиной, перекликающихся с записками Долгорукой. Воспоминания Долгорукой вышли как раз в 1810 г., когда Лабзина начала работу над своими воспоминаниями, по всей видимости, она их знала.¹⁰ Возможно, знакомство с записками Долгорукой объясняет обращение Лабзиной к хорошо знакомой и ей самой, и ее читателям, универсальной агиографической модели.

Едва ли Лабзина думала представить себя святой, грех, в котором обвинил ее Лотман: «Лабзина видела свою жизнь как длинное, мучительное испытание, „тесный путь“ нравственного восхождения сквозь мир греховных

⁷ Marker G., *May R Days of a Russian Noblewomen*. P. XIV–XV.

⁸ Модзалевский Б. Воспоминания А. Е. Лабзиной. С. XXII–XXIII.

⁹ Marker G., *May R. Days of a Russian Noblewomen*. P. XIII.

¹⁰ Ibid. P. XII.

искушений к святости <...> Своевольно приписывать себе святое поведение — грех гордости. Анна Евдокимовна Лабзина впадает именно в этот грех».¹¹ Отмеченную Лотманом имитацию агиографического дискурса в ее мемуарах следует соотнести, скорее, с масонскими интересами автора. Мемуарный рассказ представляет собой своего рода публицистический текст, в котором рассматривается стойкость личности и ее нравственных принципов, основанных на вере в Бога и нравственной чистоте, идеи исключительной значимости в творчестве масонов.¹² Ведущие ее составляющие — постижение самого себя, проблема настоящей, внутренней свободы человека, даже тогда, когда он находится во власти враждебных ему людей и обстоятельств. В записках Лабзиной обращает на себя внимание аспект воспитания девиц и подготовки женщины к основному ее предназначению — семье. Как это должно происходить, Лабзина показывает на примере собственной судьбы. Из воспоминаний ее воспитанницы Софьи Лайкевич известно, что Лабзина при воспитании девочек, выросших под ее крылом, следовала тем же строгим принципам полученного ею самой воспитания.¹³ Поэтому нельзя согласиться с тем, что Лабзина отличалась суетным тщеславием (которое противоречит проповедовавшемуся масонами смирению) и выставляла себя святой (как считал Лотман), сомнительно также, что у нее было намерение сравнить несчастную молодость со счастливой зрелостью (как считал Модзалевский).

Рассказ Лабзиной начинается, по законам жития, с описания детства героини, и конечно, в нем упоминается благочестие ее родителей. В автобиографии Лабзиной можно увидеть «житие в житии». Повествование о детстве мемуаристки включает в себя рассказ о праведной жизни, благотворительности и смерти ее матери. Помимо житийной традиции, в этом сказалась и масонская система ценностей, в которой знание «истории жизни», осмысление достоинств и недостатков предков и учителей занимала заметное место. Дуглас Смит приводит наставление масонам нижней степени одной из русских лож: «Обращайся к истории жизни твоей. Что было хорошего и худого в моих родителях, первых учителях, юных друзьях, и в школах, в которых я вырос?... Действительно ли имею ныне те хорошие свойства, которых основание положили во мне оныя обстоятельства, или в чем я стал хуже? Какие книги читал я наиболее; и какой вред мне делали? Какие суть самые благородные, какие самые худые дела в жизни моей, которые

¹¹ Лотман Ю. М. Две женщины. С. 301, 305.

¹² Смит Д. Работа над диким камнем: масонский орден и русское общество в XVIII веке. М., 2006. С. 49.

¹³ Модзалевский Б. Воспоминания А. Е. Лабзиной. С. XIX.

могу упомнить?».¹⁴ Особый интерес в рассказе Лабзиной представляет толкование добровольного заключения матери после смерти мужа, когда она от горя не хотела заниматься домашними делами и даже видеть своих маленьких детей. С одной стороны, этот эпизод можно действительно прочесть в русле сентименталистского типа поведения¹⁵ (мать впала в умопомрачение после смерти супруга, воображает, что покойник еще с ней, подчиняется его «приказам»). С другой стороны, эпизод можно толковать сквозь призму агиографической традиции как искушение праведного, которому дьявол одурманивает сознание. Последнее толкование соответствует масонскому мистицизму. Красноречива развязка этого эпизода из жизни матери. Из своего помрачения она выходит, начав деятельно и последовательно заниматься благотворительностью. Моральная и материальная поддержка, оказываемая матерью страждущим и впавшим в неволю — одно из важнейших правил масонской этики. Оно постоянно фигурировало в масонской литературе, находя себе и широкое практическое применение. Вполне в духе житийной традиции рисуется Лабзиной и реакция заключенных, забывших свои дикие нравы и благодаривших благодетельницу со слезами умиления. Подобным образом смиряются перед добродетельной женщиной и свирепые разбойники, отказавшиеся от своих злокозненных планов. Эти эпизоды напоминают популярные агиографические топосы о смирении диких зверей перед святым, о поклонении ему грешников, преступивших Божьи законы. Рассказ Лабзиной о матери соотносим с житием Ульянии Осоргиной, написанным ее сыном, прославившим ее благочестие, благотворительность и смирение.

В начальной части записок Лабзиной встречаются также характерные для агиографии предсказания будущего героини: ее умирающий отец и мать предвидят испытания своей дочери. Модель воспитания, которой следует мать мемуаристки, близка аскетической: «Между тем меня учила разным рукодельям и тело мое укрепляла суровой пищей и держала на воздухе, не глядя ни на какую погоду; шубы зимой у меня не было; на ногах, кроме нитных чулок и башмаков, ничего не имела; в самые жестокие морозы посылала гулять пешком, а тепло мое все было в байковом капоте. <...> Летом будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку. Пришедши домой, давали мне завтрак, состоящий из горячего молока и черного хлеба...».¹⁶ Лотман находит другое объяснение опи-

¹⁴ Смит Д. Работа над диким камнем... С. 43.

¹⁵ Лотман Ю. М. Две женщины. С. 306.

¹⁶ Лабзина А. Е. Воспоминания. Описание жизни одной благородной женщины // История жизни благородной женщины. С. 17.

санного образа жизни ребенка, возводя его к влияниям руссоистской идеи воспитания, состоящей в закалке и в физической нагрузке детей и получившей в русском обществе второй половины XVIII в., по его мнению, широкий отклик.¹⁷ Следует также отметить популярность идеи естественности и близости к природе среди масонов. Однако у Лабзиной нет и следа типичного для сентиментализма мотива материнской нежности и привязанности матери к детям. В мемуарах Лабзиной мать — первая и строжайшая наставница, ставящая себе целью суровым воспитанием подготовить дочь не к счастливой жизни, а к предстоящим страданиям. Неслучайно повествовательница несколько раз сетует на свою абсолютную неподготовленность к браку, на удаленность от обычной жизни и близких людей, на решение ее судьбы без ее согласия. На протяжении всех записок Лабзина последовательно ставит вопрос о наставнике, который должен научать и направлять неопытную душу. В мемуарах юная героиня встречается с несколькими наставниками — тетушкой, затем свекровью, заменившей ей мать. С исключительным уважением мемуаристка говорит о своих благодетелях: о М. М. Хераскове, в чьем доме она прожила два года, о некоторых из начальников ее первого мужа, не одобрявших его поведения. Получаемые ею наставления состоят в повторении вечных христианских истин, а также домостроевских правил поведения в семье и обществе.

Центральное место в записках Лабзиной занимает повествование о ее семейной жизни, начавшейся в тринадцать лет. Первым ее супругом был Александр Матвеевич Карамышев, известный ученый-химик, руководитель многих научных экспедиций, человек, заслуживший своей работой уважение и внимание многих выдающихся современников, обративший на себя внимание кн. Г. А. Потемкина, и императрицы Екатерины II. Семейная драма этих двух личностей — наиболее обсуждаемый аспект мемуаров Анны Евдокимовны. Лотман объясняет ее столкновением двух культурных традиций, сосуществовавших в русском обществе конца XVIII века.¹⁸ Противоположные по своей сути, они были замкнуты в себе и не были способны к какому бы то ни было диалогу. Христианскому аскетическому воспитанию и самосознанию мемуаристки противопоставлен свободный от каких бы то ни было предрассудков человек, гедонист, посвятивший себя удовольствиям, атеист, грубо нарушавший православные нормы. Лабзина до конца сохраняет эту антиномию. Карамышев предстает в рассказе Лабзиной человеком глубоко развратным: он постоянно изменяет жене, устраивает оргии, вступает в кровосмесительную связь с родной племян-

¹⁷ Лотман Ю. М. Две женщины. С. 305–306.

¹⁸ Там же. С. 312–313.

ницей, и, наконец, сам предлагает найти для жены любовника. Кроме того, он жесток, что проявилось в его бессердечии к скорбящей после смерти матери Анне. Вопреки отчаянным порывам, он неспособен победить в себе порок. Впрочем, повествовательница даже и не пытается понять до конца его сущности. На всем протяжении записок Карамышев остается носителем темной силы в человеке, нечестивым искусителем, постоянно испытывающим, даже путем психологического натиска и насилия, христианские устои супруги.¹⁹ Его падение тем ниже, что он сам был масоном,²⁰ очевидно не соблюдавшим принесенной присяги. «По представлениям масонов, грубость неочищенной души воплощалась в неукротимом темпераменте и скверных манерах; напротив того, брат, уже прошедший обработку дикого камня, имел уравновешенный, спокойный характер и строго исполнял „все правила честности, правды и благотворительности“ <...> Всякого рода отступления от приличий понимались как знак большого недуга — необузданных страстей, недостаточной самодисциплины и развращенности. Масон же был обязан воплощать чистоту нравов и не имел права забывать об этом», — пишет Дуглас Смит.²¹ Порочное поведение мужа мемуаристки, выведенного в записках антагонистом ее идеализированного образа, акцентировано и тем, что его образ жизни — результат его собственных решений. Его мать, добродетельная и благочестивая, страдает от поведения сына. Стоит заметить, что Лабзина не выставляет своего бывшего мужа законченным злодеем. Она не отказывает ему в достоинствах, объясняя его пороки слабостью его природы: «В нем было много доброго, и эта добродетель в нем велика была, чтоб делиться с бедными. Случалось так, что и у себя не оставит, а последнее отдаст! Ему, конечно, вменится сия добродетель во что-нибудь и покроет другие его дела...».²² Свое поведение Лабзина изображает как твердое и неуклонное следование привитым ей принципам послушания и почтения к старшим, соблюдения дочернего и супружеского долга, как стремление сохранить себя от искушений городской и придворной жизни. Безвыходность ситуации в ее несчастном замужестве, невозможность преодоления порочности супруга и

¹⁹ Ср. с цитатой из книги «Истина религии» розенкрайцеров: «Грубый эпикуреец хотя верует в Бога, однако ж, живет так, как будто бы Его не бывало. Необузданно следует он свирепым похотям своим. Он атеист практический, скот в виде человеческого...» (Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб., 1999. С. 192).

²⁰ Александр Матвеевич Карамышев // Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 377.

²¹ Смит Д. Работа над диким камнем... С. 44.

²² Лабзина А. Е. Воспоминания. С. 73.

достижения истинно христианского союза, как его понимала мемуаристка, похоже на проекцию нравственного лабиринта, из которого она должна найти выход. Эта внутренняя аналогия характерна для многих масонских текстов и является сюжетобразующей в аллегорических масонских романах наставника Лабзиной М. М. Хераскова. Мемуаристка создает идеальный образ женщины, решившейся соблюдать, насколько это в ее собственных силах, христианские правила и оставаться верной воспринятым ею нравственным и религиозным ценностям масонства.

Наставники и благодетели предупреждают мемуаристку о предстоящих бедах, помогают ей преодолеть трудности и побороть в себе возникавшие чувства (например, свою симпатию к влюбленному в нее племяннику Хераскова). Трудный путь через испытания под руководством умелого ментора — характерный масонский мотив, ярчайшее воплощение которого в XVIII в. можно увидеть в фенелоновском «Телемахе», ставшем архетипом для русского философско-политического (и масонского) романа, признанным мастером которого в России и был М. М. Херасков.²³

Лабзина не стремилась создать свой идеальный «святой» образ. Ее задача была показать, как воспитанная в чистой вере душа сумела противостоять всем испытаниям, и вызвать сочувствие всех благородных людей, с которыми свела ее жизнь. Мотив борьбы и победы над житейскими соблазнами на пути познания себя и познания Бога активно разрабатывался в литературе русских вольных каменщиков того времени. В духе сентименталистской эпохи, когда формировалось мировосприятие Лабзиной, значимую роль в характеристике литературных персонажей играло чтение. Если умственная работа Карамышева и его научные интересы практически остаются вне внимания Лабзиной (в лучшем случае она только упоминает об его поездках и экспедициях), то себя она характеризует одним, но очень авторитетным именем в масонской среде — именем М. Арндта, работы которого рекомендовались вновь посвященным.²⁴

²³ См.: Сахаров В. И. Масонская проза: история, поэтика, теория // Масонство и русская литература XVIII — начала XIX в. М., 2000. С. 193–220. Особо интересную точку зрения на менторство Хераскова по отношению к юной Лабзиной предложил Ю. М. Лотман. По его мнению, Херасков осуществил психологический эксперимент над ней, поставив воспитанницу в условиях изоляции от «опасного мира» и стремясь добиться осуществления утопической идеи воспитания совершенного человека (*Лотман Ю. М. Две женщины*. С. 306–307).

²⁴ Вернадский Г. В. Русское масонство. С. 178, 181. Н. Д. Кочеткова предполагает, что это работа Арндта «A propos du christianisme véritable», переведенная на русский язык Иваном Петровичем Тургеневым (*Kochetkova N. D. Les femmes et la franc-maçonnerie russe du XVIII siècle*. P. 190).

Важным мотивом в применении агиографического кода в автобиографических записках Лабзиной является аскеза плоти: говоря о сексуальной распущенности мужа, она ничего не рассказывает о своих интимных супружеских отношениях. Как и в традиционной агиографии, духовный подвиг восхваляемой личности предваряется отказом от плотских радостей. Любовь, о которой иногда говорят супруги, исключает интимность между ними. Карамышев выглядит абсолютно незаинтересованным в близости с Анной, которая со своей стороны стремится сберечь чистоту не только своих помыслов, но и тела. Отсутствие душевного взаимопонимания между обоими и является причиной их супружеской отчужденности. В качестве антитезы супружества Анны и Карамышева, Маркер и Мей выдвигают ее счастливый и гармонический брак с ее вторым мужем Лабзиным, о чем свидетельствует сохранившийся дневник мемуаристки за 1818 г.²⁵

Иллюзия жития поддерживается также стилистическими особенностями мемуарного текста. В отличие от подавляющей части женских мемуаров XVIII — первых десятилетий XIX в., написанных, за малым исключением (к которому относятся записки Н. Б. Долгорукой) на французском языке, Лабзина пишет свои воспоминания на русском языке, который производит впечатление намеренно архаизированного. Маркер и Мей говорят о близости языка записок в дидактических эпизодах, когда в очередной раз проповедуются установленные христианской традицией нормы поведения, с языком проповеди.²⁶

Вероятнее всего Лабзина работала над текстом своих автобиографических записок с мыслью об их публикации или рукописного распространения. У нее не было своих детей, и вряд ли она руководствовалась традиционным мотивом мемуарного письма — желанием завещать историю своей жизни потомкам. Скорее всего, при работе над воспоминаниями она пыталась создать масонское (авто)житие — нравоучительный трактат, повествующий о настоящей житейской истории реального и авторитетного лица, нашедшего свой путь к «истинной» вере и к себе. Вполне возможно, что среди своих будущих читателей мемуаристка предполагала женщин, на сопереживание которых сильно рассчитывала. В то же самое время она (и здесь при желании ее можно заподозрить в известной суетности) предлагала свой собственный образ и путь как образцовый и успешный в претворении высоких масонских идеалов. Этот «грех» был подчинен идее общей пользы, которую она доставила, рассказав историю своей молодости.

²⁵ *Marker G., May R. Days of a Russian Noblewomen. P. XXVI.*

²⁶ *Ibid. P. XXVI.*

ЛЕЙПЦИГ XVIII ВЕКА В ВОСПРИЯТИИ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Лейпциг, впервые упоминаемый как город в 1015 г., расположенный на пересечении магистральных дорог Европы — *Via Regia* и *Via Imperii*, — начиная со Средних веков стал заметным деловым центром. В 1700 г. здесь проживало 21 696 человек, к 1789 г. число жителей увеличилось до 32 144.¹ С середины XVI в. город стал центром торговли между Востоком и Западом. Особую известность приобрели проводившиеся трижды в год ярмарки, получившие благодаря указам императора Максимилиана I о всевозможных привилегиях статус имперских. Университет, основанный в 1409 г., привлекал в город студентов и ученых со всей Европы. Центральная Германия послужила ядром средненемецкого Просвещения, и Лейпциг оказал на распространение его идей решающее влияние, во многом благодаря превосходно организованной книгоиздательской индустрии.

Все эти особенности неизменно привлекали в Лейпциг русских путешественников на протяжении всего XVIII века; уже к его концу написанных ими рассказов и отзывов о городе, в том числе достаточно выразительных, было создано немало. На нескольких примерах в настоящей статье сделана попытка показать, какие впечатления от Лейпцига оказывались в этих документах наиболее характерными.

Более всего в Лейпциг из России приезжали купцы, на втором месте по численности были студенты, и наконец — «путешествующие по службе»: царские курьеры; офицеры, проезжавшие сухопутным путем к базам средиземноморского флота; чиновники с дипломатическими поручениями.

¹ *Leonhardi G. F. Leipzig um 1800 / Hrsg. von K. Sohl. Neuausgabe. Leipzig, 2010. S. 126.*

Также нельзя не упомянуть группу «кавалеров» — молодых людей, путешествовавших по Европе в рамках образовательного «тура». Точных цифр представителей ни для одной из этих групп назвать невозможно; известно лишь, что число приезжих из России в XVIII веке (за исключением купцов) было незначительным; в это время в Лейпциге так и не появилось дворянской «колонии» с ее привычным атрибутом — салоном, — как это произошло позднее в Дрездене, на курортах Юга Германии или в Богемии.

Что могло ассоциироваться с Лейпцигом у образованных русских в XVIII веке, насколько значимым представлялся им этот город и насколько осознавалась его специфика? По сравнению с Берлином или Дрезденом наглядное различие позволяли увидеть гравированные виды городов: с одной стороны, роскошные столицы прусского короля и саксонского курфюрста; с другой — богатый и гордый торговый, бюргерский город. Дрезден пользовался известностью как жемчужина барочной архитектуры; богатейшая сокровищница изобразительного искусства, между тем как Лейпциг в XVIII веке мог предложить путешественникам лишь несколько относительно крупных картинных галерей. Хотя окрестности Лейпцига и признавались всеми достаточно приятными, они никак не могли сравниться с живописной «Саксонской Швейцарией» (область к юго-востоку от Дрездена). В июле 1789 г. Н. М. Карамзин писал: «Собственно так называемый город очень не велик, но с предместиями, где много садов, занимает уже довольно пространство. <...> Окрестности Дрезденския прекрасны, а Лейпцигския милы. Первые можно уподобить такой женщине, о которой все при первом взгляде кричат: *какая красавица!* а последняя такой, которая всем же нравится, но только *тихо*; которую все же хвалят, но только без восторга; о которой с кротким, приятным движением души говорят: *она мило видна!*»²

Естественно, эти различия не определяли интереса или продолжительности пребывания в Лейпциге: у каждого путешественника были свои цели и заботы. Большинство из них в XVIII веке посещали город лишь проездом, останавливаясь в нем на несколько дней для отдыха; во второй половине XVIII века задержаться здесь могла заставить распространившаяся слава «малого Парижа». На относительно длительный срок в XVIII веке в городе оставались лишь две категории: русские купцы и их служители, а также студенты, по большей части проходившие здесь полный университетский курс.

² Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, И. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 61.

Одним из первых заслуживающий внимания отзыв о Лейпциге оставил дипломат Б. И. Куракин (1676–1727), спутник Петра I, посетивший Лейпциг в октябре 1705 г. по пути на лечение в Карлсбад. Как следует из его дневника, до этого визита Куракин не знал о Лейпциге ничего конкретного; его заметки носят характер первого знакомства, здесь указываются по большей части технические сведения: расстояния, денежные курсы, стоимость ночевки и питания. Вместе с тем зачастую несколькими ключевыми фразами здесь сообщаются и важные факты. Поскольку речь идет о наиболее раннем описании Лейпцига образованным русским, следует привести несколько примеров. Сам город не впечатлил Куракина, остался для него неинтересным, поскольку жизнь здесь была слишком дешевой (!) и не предлагала значимых развлечений: «Город на кавалеров жить — скушной гораздо».³ Вместе с тем заслуживающими внимания Куракину показались ярмарки: «Тут же великая марканция и бывает в год <...> три ярманки, на которых купечество славное живет со всей части Европы, <...> и также бывает съезд великой кавалерам, а ярманки бывают по две недели». Пребывание Куракина пришлось на осеннюю ярмарку, начавшуюся 24 сентября и сопровождавшуюся «великими векселями», подобно известной Куракину Франкфуртской ярмарке. Город был наполнен иноземными предпринимателями (о чем позднее писали и другие русские посетители ярмарок), причем Куракин особо отмечает, что, за неимением судоходных рек, вся торговля в городе происходит по сухопутным дорогам.

Об университете он замечает: «Город Лейпцих [!] короля польского, в котором обретается славная академия в Германии или, больше молвить, между лютеры. И бывает тысяч по три и больше студентов». Действительно, в 1701–1705 гг. в университет было записано 2850 студентов (в среднем каждый год обучалось 983).⁴ Куракин посчитал нужным отметить специфику социального состава студентов: «Только ж знатных персон учатся гораздо много, не так чтоб княжских или других подобных, только персон шляхетных».

Лейпциг был важным экономическим и торговым центром Саксонии. С 1573 торговля связывала его с Москвой; русские торговцы мехами впер-

³ Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина. 1705–1710 // Архив князя Ф. А. Куракина. СПб., 1890. Т. 1. С. 125. Сходным оказалось и мнение, высказанное семью десятилетиями позже Д. И. Фонвизиним: Лейпциг «показался нам столько же скучен, сколько Дрезден весел» (Фонвизин Д. И. Собр. Сочинений: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 417. Письмо родным от 20 ноября (1 дек.) 1777).

⁴ *Eulenburg F. Die Entwicklung der Universität Leipzig in den letzten hundert Jahren. Stuttgart; Leipzig, 1909. S. 190.* Новейших сведений о численности студентов в этот период установить не удалось.

вые завели здесь торговлю в 1772 г. По официальным сведениям, в период с 1766 по 1800 гг. все три ярмарки посетили 1443 русских купца; только в 1800 году их число составило 184;⁵ причем эти цифры не учитывают кучеров, торговцев и прочих третье- и пятиразрядных предпринимателей. Сведений о жизни и впечатлениях этой категории приезжих в Лейпциг немного; известно лишь несколько случаев, когда кто-либо из них сообщал свои впечатления о лейпцигской ярмарке; что касается посещавших ярмарку дворян, то в их представлении оказывалось торговля была занятием сомнительным. Описания лейпцигской ярмарки часто оказываются хотя и яркими, но страдают фрагментарностью. И все-таки, ярмарочное возбуждение не оставляло равнодушным почти никого. Так, например, А. И. Тургенев, посещавший город по пути в Геттинген, с изумлением описывает народные толпы в сентябрьском письме 1802 г. «из Лейбцига»: «Сегодня началась здесь ярманка, деятельность и многолюдство в городе час от часу умножаются; улицы все застроены лавками; а в домах и трактирах не осталось ни одной пустой комнаты, при всем том, что большая часть из них в семь и даже восемь этажей».⁶ Позже, в мае 1804 года, он восклицал: «Как обрадовались мы, увидев здесь русския бороды! Здесь такое множество русских купцов, что они почти на всякой улице попадаютя и занимают целыя трактиры. Целыя улицы заставлены русскими телегами, так что можно на некоторое время забыться, что живешь в немецком городе. <...> Впрочем, их [русских купцов. — Э. Х.] здесь очень уважают, особливо в трактирах».⁷ Действительно, в лучшие годы с русскими купцами на ярмарки прибывало от 200 до 300 повозок. Но Тургенев замечает между тем что по большей частью лейпцигская торговля оказывалась для русских купцов убыточной.

С 1783 года в этом торговом городе существовало учрежденное Екатериной II консульство. Его задачей оказывалось не только улучшение условий жизни русских подданных, но и формальное закрепление отношений с городом. Помимо прочего, консул выступал третейским судьей в разрешении конфликтов между русскими и немецкими дворянами.

Влияние Лейпцига как центра науки и просвещения отчетливо прослеживается в России начиная с XVIII века; открытая политика России по отношению к Западу начиная с правления Петра I привела ко все увеличивав-

⁵ По подсчетам И. Рейнгольда (Reinhold J. Polen / *Litauen auf den Leipziger Messen des 18. Jahrhunderts*. Weimar, 1971. S. 176).

⁶ Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 19.

⁷ Архив братьев Тургеневых. СПб., 1915. Вып. 4. С. 5 и 6. Письмо родителям от 23 апр. (5 мая) 1804.

шему числу русских студентов в Лейпцигском университете. Всего в XVIII веке здесь обучалось около 100 выходцев из России.⁸ Причем по большей части они за несколько лет оканчивали полный курс — как, например, в случае с большой группой студентов (А. Н. Радищев, Ф. В. Ушаков, А. М. Кутузов и др.), отправленной сюда Екатериной II за казенный счет; предполагалось, что как высококлассные специалисты они смогут занять важные посты в государственной администрации. Всего за период с 1767 по 1775 гг. в эту группу входило 12 человек. Вакантные места, образовывавшиеся со смертью молодых людей или отъездом в Россию окончивших обучение, занимались новыми студентами; других русских студентов в это время в Лейпциге почти не было. Все предприятие обходилось российской казне ежегодно примерно в 15 000 руб. (эта сумма в то время примерно равнялась бюджету Московского университета), что отчетливо показывает репутацию лейпцигского образования на тот момент.⁹

Лишь немногие из членов этой группы (как и в целом русские студенты) оставили воспоминания о месте, где ими было получено образование. А. Н. Радищев в «Житии Федора Васильевича Ушакова» приводит сведения о позиции студентов в борьбе с начальством за расширение студенческих свобод, но также и об усердной учебе и об обстоятельствах жизни студентов в Лейпциге. Среди прочего он сообщает о том, какое значительное влияние оказали на русских студентов лекции Х. Ф. Геллерта. О сходных впечатлениях писал в сентябрьском письме 1786 г. Морицу Августу фон Тюммелю другой участник этой группы, Осип Петрович Козодавлев, отмечая широту полученных в Лейпциге знаний.¹⁰

Один из младших студентов этой группы, Василий Николаевич Зиновьев, относительно подробно остановился на своих студенческих годах в позднейшем путевом дневнике (он посещал Лейпциг еще дважды). Само обучение в университете, начавшееся в возрасте 12 лет, почти не нашло отражения в этих воспоминаниях, в отличие от запомнившейся гнетущей тоски по родине. Оглядываясь назад, он признавал, что самым полезным в учебе в Германии для него оказались занятия немецким языком и чтение духовных сочинений, но более всего его занимали «детские шалости и даже грехи». Его «гувернером» был Иоганн Адам Готлиб Кинд, университетский синдик и профессор саксонского права, с которым Зиновьев вновь

⁸ Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века. М., 2005. С. 379–381.

⁹ Подробнее см.: Там же. С. 182–208.

¹⁰ Александр Николаевич Радищев, его жизнь и сочинения / Сост. В. И. Покровский. М., 1907. С. 66, примеч. 1.

встретился в 1783 г. По его мнению, за прошедшее время город чрезвычайно изменился, по поводу чего сделано следующее краткое, но емкое замечание: «Роскошь чрезвычайно умножилась. Утеха грешнику себе подобных видеть!»¹¹

Судя по имеющимся на данный момент сведениям, в XVIII веке за собственный (а не родительский или тем более казенный) счет в Лейпциге учился лишь один русский студент, Роман Максимович Цебриков (1763–1817) из Харькова. В 1779 г. он путешествовал в качестве переводчика с двумя купцами, которые, намереваясь сперва отправить его обучаться в Галле, остановили между тем выбор на Лейпциге, где он был внесен в матрикулы 4 мая 1780 г. (обучение продолжалось до 1785). В своих записках Цебриков называет «любезный» Лейпциг «Умопросвещенском», в то время как Петербург оказывается для него «Безпечиной»¹² — мнение о Лейпциге, весьма отличное от высказанного в свое время Куракиным.

Существенным отличием Цебрикова от прочих русских студентов XVIII века было то, что он совмещал учебу в Университете с заработком, преимущественно выступая переводчиком по торговым и правовым делам. Позднее он сообщил важные наблюдения и замечания о русской торговле на лейпцигских ярмарках, собрав их в «Кратком разсуждении о производимой в саксонском городе Лейпциге русскими купцами торговле».¹³ Помимо прочего, этот опыт важен и как отражение картины мира молодого русского студента во время его обучения в Лейпциге, «сем издревле славящемся сколько науками, столько и коммерциею городе».¹⁴

Опыт Цебрикова может служить примером связи между ярмарками и университетом. Благодаря прекрасному владению языками и высокой квалификации в деле коммерции он поддерживал связи с наиболее влиятельными русскими купцами, предъявлявшими к своим агентам строгие требования, но и щедро награждавшими труд (плата могла достигать до 800 рублей в год), представлял их интересы в отношениях с городскими властями, в том числе и перед судом, а также входил в круг первого русского консула Ф. И. Сапожникова; был знаком с Д. И. Фонвизиным и рус-

¹¹ Зиновьев В. Н. 1) Журнал путешествия В. И. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии в 1784–1788 гг. // Русская старина. 1877. № 10. С. 218; 2) Воспоминания // Русская старина. 1878. № 12. С. 613–614.

¹² Hillert S. Zur Wirkungsgeschichte der Leipziger Universität in Rußland. Roman Maximovič Cebrikov // Gesellschaft und Kultur Mittel-, Ost- und Südosteuropas im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert / Hrsg. Reinalter H. Frankfurt am Main; Berlin u. a., 1994. S. 146.

¹³ Козлов С. А. От Лейпцига до Очакова. Дневниковые записки Р. М. Цебрикова 1785–1788. СПб., 2009. С. 112–118.

¹⁴ Там же. С. 111.

скими чиновниками, проезжавшими через город. Они охотно пользовались услугами Цебрикова, и после его возвращения в Россию поддерживали с ним добрые отношения. Среди лейпцигских контактов Цебрикова наиболее важным оказалось знакомство с банкиром Христианом Готлобом Фреге (1715–1781) — с ним молодой студент вступил в своеобразный эпистолярный диалог о своем будущем, который впоследствии озаглавил «Любовь к отечеству».¹⁵ По предложению Фреге, Цебриков должен был вступить в Лейпциге в должность присяжного переводчика и, как следствие, отказаться от идеи вернуться в Россию, чему, впрочем, помешали патриотические чувства последнего.

Следует сказать несколько слов об образе Лейпцига у русских писателей XVIII века. В целом Лейпциг был городом торговым, промышленным и университетским, но никак не поэтическим олимпом. Между тем здесь жил И. Х. Готшед, вокруг которого сформировался свой круг, связи которого, в том числе простирались и на Россию; здесь можно было встретиться с Х. Ф. Геллертом и Х. Ф. Вайсе, встречи с которыми искали все образованные русские путешественники. Именно Вайсе опубликовал в Лейпциге знаменитое «Известие о некоторых русских писателях вместе с кратким сообщением о русском театре»,¹⁶ ставшее первым печатным обзором русской литературы на немецком языке.

В письмах 1777 и 1784 гг. (при проезде через город) впечатления от встреч с профессорами и духовной жизни университета оставил Д. И. Фонвизин. Лейпциг оказался для него своеобразными воротами в Европу; первым среднеевропейским городом, «который заслуживает примечание».¹⁷ Это тем более удивляет, что прежде он четырежды бывал в Кёнигсберге, который ему не понравился из-за тамошних нравов, как не приглянулись писателю и почти все прочие города между Петербургом и Нюрнбергом: «Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах — словом, у нас все лучше, и мы больше люди (!), нежели немцы».¹⁸ И даже если он пишет: «Лейпциг всех сноснее», то вскоре уточняет: «Город Лейпциг очень хорош на одну неделю,

¹⁵ Козлов С. А. От Лейпцига до Очакова. С. 198–204. О Фреге см.: *Weber D. Das Handels- und Bankhaus Frege & Comp. In Leipzig (1739–1816). Stuttgart, 2008.*

¹⁶ Об авторстве этой статьи см.: Хексельшнайдер Э. «Известие о некоторых русских писателях вместе с кратким сообщением о русском театре» (1768) // *Художественный перевод и сравнительное изучение культур. (Памяти Ю. Д. Левина).* СПб., 2010. С. 404–426.

¹⁷ Фонвизин Д. И. Письмо родным от 17 (28.) авг. 1784 // Фонизин Д. И. Собр. сочинений. Т. 2. С. 508.

¹⁸ Там же.

а жить в нем ни из чего не соглашусь». ¹⁹ Все погружено в скуку и достойно критических замечаний: слишком много бедных; слишком много горбунов (!); простые саксонцы почти не знают иностранных языков — во всем никакого сравнения с Россией. К университету Фонвизин почти не проявил интереса, если не считать Х. А. Клодиуса (1737–1784); ²⁰ в профессорах видел лишь «преученных педантов», ²¹ и уже зимой 1777 г. пришел к уничижительному заключению: «Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума». ²²

Неизменным предметом внимания русских, посещавших Лейпциг, оказывались книжные ярмарки, издатели и типографии. Уже в 1705 г. Б. И. Куракин отметил, что «Также и книг немецкого языка иных нет таких нигде», ²³ добавив при этом, что ни в одном другом месте не говорят столь правильным и богатым немецким языком. Со второй половины XVIII века в русском восприятии Лейпциг становится не только ключевым для книжного рынка местом, откуда шла большая часть торговли с восточными областями, но и как город, где публиковалось значительное число изданий о России (в том числе и переводов из русских авторов), а также европейским центром книгоиздания, располагавшим обширными возможностями печати кириллическим и гражданским шрифтом.

Эту роль город перенял у Галле времен А. Х. Франке. Особое место в этом процессе заняло издательство Брейткопфа и Гертеля, получавшее немалый доход от укрепления торговых связей Лейпцига и России; для хатайства перед российскими властями оно привлекло священника Павла, пользовавшегося в городе заметным влиянием как духовный наставник студенческой колонии. К концу века в распоряжении Брейткопфа было в общей сложности 18 русских шрифтов. Как следствие, интерес к лейпцигским издательствам проявляла в том числе и Академия наук, и в конце XVIII в. сюда было отправлено для обучения несколько наборщиков. ²⁴

¹⁹ Там же. С. 510. Письмо родным от 29 авг. (9 сент.) 1784.

²⁰ Как недавно удалось установить, у этого профессора брал уроки немецкого стиля А. Н. Радищев (*Хексельшнейдер Э.* Новое о студенческих годах А. Н. Радищева и его друзей. Два неизвестных письма к Х. А. Клодиусу // XVIII век. СПб., 2013. Сб. 27 [в печати]).

²¹ *Фонвизин Д. И.* Письмо родным от 20 нояб. (1 дек.) 1777 // Фонвизин Д. И. Собр. сочинений. Т. 2. С. 417.

²² Там же. С. 454. Письмо П. М. Панину от 22 нояб. (3 дек.) 1777.

²³ *Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина. 1705–1710.* С. 125.

²⁴ *Hexelschneider E.* Kulturelle Begegnungen zwischen Sachsen und Russland 1790–1849. Köln; Weimar; Wien, 2000. S. 447–457. См. также: *Русский мир Лейпцига* / Ред. Е. Тумин, *Хексельшнейдер. Лейпциг*, 2011.

Интерес к книгоиздательской инфраструктуре Лейпцига у русских путешественников не был лишь пассивным (приобретение и издание книг). Заслуживающими внимания оказывались здешние успехи в постановке книготоргового дела и прочие предприятия, связанные с формами бытования книги в обществе. Особо показательны в этом отношении замечания, сделанные в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина. Описывая свое посещение Лейпцига в 1789 г., он с удивлением рассказывает о таких мало развитых на тот момент в России явлениях, как система авторского права, открытые и частные библиотеки, правила выплаты авторских гонораров и борьба с контрафактными изданиями и плагиатом.

Не входя в дальнейшие подробности (тема эта достаточно разработана исследователями), следует все же сказать несколько слов о месте Лейпцига в известном сочинении Карамзина. В общем замысле этого литературного путешествия по средней и западной Европе Лейпцигу отводится важное, хотя и не слишком пространное место: из 159 писем этому городу посвящены 6, причем описываются в них лишь несколько дней (16 — 19 июля). В целом Лейпциг вызывает у путешественника положительные чувства: «Торговля и университет привлекают сюда множество иностранцев».²⁵ Лейпциг предстает читателю со многих точек зрения: здесь и знакомства чувствительного молодого человека со студентами, и выливающиеся в обстоятельные портреты беседы со знаменитостями (Х. Д. Бек, Э. Платнер, Х. Ф. Вайсе), и Университет, о котором путешественник замечает: «Здесь-то, милые друзья, желал я провести свою юность; <...> здесь хотел я собрать нужное для искания той истины, о которой с самых младенческих лет тоскует мое сердце!»²⁶ (к занятиям философией его поощряет Платнер). Понимая просветительскую роль Лейпцига, в кругу лейпцигских профессоров путешественник выступает пропагандистом русских писателей, рассказывая о Хераскове и цитируя переводы А. М. Кутузова из Клопштока. Но привлекает его также и повседневная жизнь, цены на товары и блюда местной кухни; обилие публичных садов и парков и общественная жизнь Лейпцига.

Наконец следует заметить, что атмосфера Лейпцигского университета XVIII века привлекала русских писателей более поздних эпох. Так, например, А. Погорельский (участник военной кампании 1813 г. и адъютант русского генерал-губернатора в Дрездене) в повести 1828 г. «Пагубные последствия необузданного воображения» из сборника «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» рассказывает о трагической любви русского студента

²⁵ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. С. 61.

²⁶ Там же. С. 60.

к искусно сделанной кукле; Лейпциг «17..» года с его Университетом и ярмарками оказывается здесь лишь общим фоном для повествования. Почти сто лет спустя столь же схематичный Лейпциг для такого же фантастического сюжета был введен В. А. Кавериним в рассказ «Хроника города Лейпцига за 18.. год» из альманаха «Серапионовы братья» (1922). Эта схематичность, впрочем, может быть объяснена тем, что Каверин никогда не бывал в Лейпциге, как и Ольга Форш, издавшая в 1932 г. соответствовавший духу времени роман «Якобинский заквас», где дана широкая и исторически достоверная панорама Лейпцига того времени, когда в нем обучались Радищев и Гёте.²⁷

Таким образом, уже в XVIII веке русскими путешественниками был создан образ Лейпцига, который изменялся и развивался и в XIX, и в XX вв., но основу его неизменно создавали эти ранние впечатления.

Перевод с нем. А. А. Костина

²⁷ *Hexelschneider E.* Noch einmal: Haben sich Goethe und Radišev während ihres Studiums in Leipzig getroffen? // Zwahr H., Schirmer U., Steinführer H. Leipzig, Mitteldeutschland und Europa. Beucha, 2000. S. 87.

НЕМЕЦКАЯ АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ И ЕЕ ИЗДАТЕЛЬ

В 1805 и 1806 гг. в Риге было напечатано два издания «Пантеона русской литературы» — сборника переведенных на немецкий язык произведений русской прозы начала XIX века.¹ По типу «Пантеон» больше всего приближается к антологии. По-видимому, это была первая публикация такого рода в России.² Издатель и переводчик был обозначен на титуле как «J. De la Croix», и его без сомнений можно отождествить с Иваном Делаacroа (чаще — Делаacroа; 1781–1852), переводчиком, издателем, журналистом, просветительская деятельность которого освещена весьма неравномерно.³ Между тем она заслуживает того, чтобы дать здесь ее краткий очерк.

Впервые Делаacroа выступил в печати в 1805 г., опубликовав, помимо «Пантеона», русский перевод «„Новых повестей“ С.-Ф. Жанлис»⁴ и немец-

¹ *Pantheon der russischen Literatur* herausgegeben von J. de la Croix. Erste Teil. Riga, 1805. 2-е изд. — 1806 (единственное отличие от первого в том, что в конце дан список подписчиков).

² Рижское же издание того же 1805 г. И. Гейма было по своему предназначению хрестоматией для обучающихся русскому языку. См.: *Russisches Lesebuch oder Auswahl prosaischer und poetischer Aufsätze aus den besten Russischen Schriftstellern: Livre de lecture russe*. Riga, 1805.

³ См. его биографию: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890. Т. 19. С. 330; Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. [6]: Дабелов — Дядьковский. С. 180–181 (автор — А. А. Половцев); *Recke J. F., Napiersky K. E. Allgemeine schriftsteller und gelehrten Lexicon der Provinzien Lifland, Estland und Kurland*. Mitau, 1859. Bd 1. S. 137 (автор — Б. Е. Этингф); *Венгеров С. А. Русская интеллигенция*. СПб., 2001. Т. 1: А–Л. С. 361. О «Пантеоне» см.: *Reissner E. Deutschland und die Russische Literatur 1800–1848*. Berlin: Akademie-Verlag, 1970. S. 17–18.

⁴ Новые повести госпожи Жанлис / Изд. И. де ла Кроа. Митава, 1805.

кий — повести П. Э. Лемонте «Какой день, или Семь женщин», переведенной незадолго до этого на русский язык Н. М. Карамзиным.⁵

В 1807 г. Делаacroа совместно с Ф. А. Шредером издавал в Петербурге «Гений времен» — одну из двух частных газет того времени (в 1808–1809 гг. соиздателем Шредера стал Н. И. Греч).⁶

Тогда же он опубликовал перевод «Письма французского адмирала Вильнева <...> к Наполеону Бонапарте» — антинаполеоновское произведение, актуальное в период противостояния с Францией.⁷ Его мнимый автор, неудачник Трафальгарского сражения П. Ш. де Вильнев, якобы покончил с собой по неизвестной причине; в «Письме» и особенно в предисловии к нему самоубийство Вильнева вводится в контекст известных с античности и привлекавших в XVIII веке большой интерес патриотических актов такого рода, а Наполеону предрекается скорое падение от рук российских воинов.

Между 1807 и 1835 гг. нам неизвестны какие-либо публикации Делаacroа. Возможно, это было связано с его занятостью на государственной службе: он был правителем канцелярии Курляндского гражданского губернатора. В эти же годы Делаacroа, по-видимому, воспитывал детей, само наличие которых, впрочем, нами лишь реконструируется.⁸

Литературные связи Делаacroа раннего периода деятельности не выявляются. С прибалтийскими издателями Миллером (в Риге) и Штефенгагом (в Митаве) его связывали деловые отношения, это были основные издательские фирмы в своих городах.

В 1835–1851 гг. Делаacroа занимается иллюстрированными изданиями-путеводителями (или, вернее, списками достопримечательностей России, Греции, Швейцарии). Наиболее интересным из них представляется «Всемирная панорама» — сборник гравюр с подробными описаниями изобра-

⁵ Welch ein Tag! oder die sieben Weiber, eme allegorische Erzählung. Mitau, 1805. Ср.: Какой день, или Семь женщин: Аллегорическая сказка // Вестник Европы. 1802. Ч. I. № 4. С. 1–37.

⁶ Русская периодическая печать (1702–1894): Справочник. М., 1959. С. 123.

⁷ Письмо французского адмирала Вильнева, писанное им по утру в день самоубийства к Наполеону Бонапарте с прибавлением введения немецкого издателя / Пер. с нем. Иван Делаacroа. СПб.: При Императорской академии наук, 1807.

⁸ Среди подписчиков появившегося после долгого перерыва следующего издания Делаacroа — «Всемирной панорамы» (1835) — находим двух его однофамильцев с отчеством «Иванович», учившихся и служивших в Петербурге. Это Александр, студент, и Валериан, портупей-прапорщик в Институте корпуса путей сообщения. Других студентов-подписчиков у издания нет.

женных мест.⁹ Он был опубликован в двух частях, составленных из выходявших по отдельности тетрадок. Сам Делакроа в предисловии к «Панораме» не без гордости отмечал, что является пионером в области изданий гравюр на стали в России, каким образом «уже несколько лет сряду в Англии, Германии и Франции выходит множество живописных творений».¹⁰ Первоначальный успех заставил Делакроа обещать продолжение, и в последней главке второй части, «Кремль», сообщается, что описание Москвы, вместе с картинкой, будет помещено в одном из следующих номеров «Всемирной панорамы».¹¹ Однако публика охладела к этому проекту, новых выпусков не последовало.

В книге приведен обширный список подписчиков, в котором находим четырех Делакроа:¹² помимо упомянутых выше Александра и Валериана, это Евгений Павлович, студент в Харькове, и Александр Павлович, юнкер 3-го флотского экипажа в Петербурге. Эти персоналии — с большой долей вероятности родственники Делакроа, возможно, племянники.¹³

В 1837 г. Делакроа выпускает две аналогичные книги — альбомы гравюр с описанием «классических» мест Греции и Швейцарии, оба с посвящениями. «Швейцария, или Галерея классических мест сего живописного и романтического края...»¹⁴ посвящена В. А. Жуковскому как наставнику великого князя Александра Николаевича и как «знаменитому поэту России и радушному покровителю наук, художеств и российской словесности». В этом же посвящении Делакроа пишет, что выход книги спровоцирован

⁹ Всемирная панорама, или Галерея привлекательнейших видов, ландшафтов, памятников и развалин; снятых с природы и гравированных на стали искуснейшими художниками: В 2 ч. / Издаваемая Иваном Делакроа. Рига: Типография Миллера, 1835.

¹⁰ Всемирная панорама... Ч. 1. С. 5 нунум.

¹¹ Всемирная панорама... Ч. 2. С. 135.

¹² Всемирная панорама... Ч. 1. С. 125.

¹³ См. письма Павла Делакроа М. М. Сперанскому от 28 августа и 1 октября 1833 г., отправленные из Митавы и содержащие просьбы о содействии переводу Евгения из Харьковского университета в Лицей, а также зачислению Александра на казенный счет кадетом в институт инженеров путей сообщения: ОР РНБ. Ф. 731 (Сперанского). Ед. хр. 2061. Судя по ответу Сперанского (Там же. Ед. хр. 1863), он не считал возможным оказать помощь, и отсутствие изменений в положении молодых людей зафиксировано в списке подписчиков. Сам П. Делакроа занимался переводом свода законов Российской империи на немецкий язык, чем, видимо, и обратил на себя внимание Сперанского в его бытность в Митаве.

¹⁴ Швейцария, или Галерея классических мест сего живописного и романтического края изображенных 72 гравюрами на стали. С описаниями в историческом, статистическом и этнографическом отношениях / Изданная Иваном Делакроа. Часть первая, содержащая 24 гравюры. Рига: В типографии Мюллера, 1837.

опубликованными письмами Жуковского о Швейцарии. «Греция, или Галерея достопамятных видов и развалин этой классической земли...» посвящена М. С. Воронцову: «К числу благотворенных лестным вниманием и снисходительностью Вашего Сиятельства принадлежу и я. Но мне еще никогда не представлялось случая выразить пред Вами ту преданность и то глубокое высокопочитание, которые питают к Вам, Сиятельнейший Граф, все пользующиеся счастьем быть Вам лично известными». ¹⁵ Из текста посвящения видно, что Делакроа не был знаком со своим адресатом; обращение к нему вряд ли объясняется только лишь расчетом на покровительство. Как отмечает Н. Д. Кочеткова, «в той или иной степени в посвящениях, при всей их комплиментарности, проявляется общественно-литературная позиция автора, индивидуальность его стиля. Выбор адресата часто сам по себе уже значим — это важный факт биографии писателя». ¹⁶ Издание о Греции посвящается генерал-губернатору Новороссии — русской Греции; это такой же литературный ход, как и посвящение издания о Швейцарии Жуковскому. В то же время и Жуковский мог рассматриваться не только в качестве адресата посвящения, тематически связанного с содержанием посвящаемой книги, но и как близкий ко двору покровитель. Такое сочетание художественных и личных интересов было традиционным для панегирической культуры в отношении поэтов, занимающих государственные должности: Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева. ¹⁷

Следующее издание Делакроа — посвященное памяти П. П. Свиньина собрание его избранных путешествий. ¹⁸ С ним связан издательский скандал, отразившийся как в предисловии к самой книге, так и в цензурных материалах, хранящихся в фондах РНБ. Заказанные издателем в Библиографическом институте в Гильдбурггаузене гравюры не были выполнены в срок, он вел по этому поводу долгую переписку, ездил в Германию и даже пытался привлечь к процессу заболевшего Свиньина, который вскоре после

¹⁵ Греция, или Галерея достопамятных видов и развалин этой классической земли / Изданная Иваном де ла Кроа. С 30 эстампами гравированными на стали. Рига: В типографии Миллера, 1837. С. 5 нум.

¹⁶ Кочеткова Н. Д. Литературные посвящения в русских изданиях XVIII века (Посвящения екатерининским вельможам) // XVIII век. СПб., 2006. Сб. 24. С. 97.

¹⁷ См., например: Кукушкина Е. Д. Панегирики поэтам // Окациональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века / Под ред. П. Бухаркина, У. Екуч, Н. Кочетковой. СПб., 2010. С. 235.

¹⁸ Картины России и быт разноплеменных ее народов, из путешествий П. П. Свиньина. СПб.: Типография Н. Греча, 1839. Ч. 1. В 1840 г. в Риге вышло переиздание книги, также на русском языке: Картины России П. П. Свиньина / Изданные И. Делакроа с портретом автора. Часть первая, содержащая 40 гравюр на стали. Рига, 1840.

этого и умер, не дождавшись выхода книги. Желание Делакроа сообщить о перипетиях этой истории в предисловии к изданию натолкнулось на сопротивление цензора, П. И. Гаевского: «Найдя с моей стороны невозможным пропуск статьи, в которой изобличается бессовестность гравера (хотя я и убежден в истине того, что г. Делакроа рассказывает), я возвратил предисловие автору с извещением, что в таком виде оно не может быть напечатано и требовал исключения всего процесса».¹⁹ Однако Петербургский цензурный комитет, на рассмотрение которого Гаевский отправил это дело, позволил оставить упоминание о конфликте, и книга вышла с полным текстом предисловия. Защищая память своего друга, Делакроа одновременно боролся за собственное доброе имя, и этот эпизод характеризует его как честного книгоиздателя.

Перевод на немецкий сочинения Н. А. Полевого о А. В. Суворове (1850)²⁰ — последний из известных нам проектов Делакроа. Стоит отметить, что приведенные в этой книге стихи русских поэтов XVIII века, посвященные Суворову, в основном Державина, также переведены самим издателем. Этому опыту сотрудничества Полевого и Делакроа предшествовало помещение последним в изданном им девятью годами ранее «Капитолии, или Собрании жизнеописаний великих мужей»²¹ главы о Суворове, написанной Полевым (автором остальных разделов книги выступил сам издатель).

В 1852 г. Делакроа умер. Некролог ему появился в «Северной пчеле» и был перепечатан в «Журнале министерства народного просвещения».²²

Итак, биография Делакроа все же дает некоторые инструменты для изучения «Пантеона». Материал, привлекавшийся Делакроа — всегда популярные в читательской среде описания знаменитых мест и исторических деятелей. По-видимому, его издательские проекты были прежде всего средством заработка, и искать в них каких-либо следов его личных пристрастий не имеет смысла. Однако стремление к новаторству, проявляемое им на протяжении всей издательской карьеры, заслуживает внимания. Рядовой участник литературной жизни России первой половины XIX века, Делакроа на протяжении всей своей деятельности был связан одновременно

¹⁹ ОР РНБ. Ф. 831 (Цензурные материалы). Оп. 1. № 7. Л. 34.

²⁰ *Polewoi N. Geschichte der Fursten Italiiski Grafen Suworoff-Rimnikski* / Hrsg. von J. de la Croix. Riga, 1850. На следующий год книга была перепечатана в Митаве.

²¹ Капитолий, или Собрание жизнеописаний великих мужей, с их портретами. СПб.: Типография Н. Греча, 1841.

²² Северная пчела. 1852. № 96 (30 апр.). С. 381; Журнал Министерства народного просвещения. 1852. Май. Новости и смесь. С. 61–62.

с немецкоязычной читательской средой, и его положение «двойного агента» — интересная точка зрения для анализа состава антологии.

Делакроа отобрал только прозу (очевидно, из соображений трудности стихотворного перевода, а сколько-нибудь значительным числом готовых переводов он явно не располагал): это несколько произведений Н. М. Карамзина, отрывки из «Путешествия в полуденную Россию» В. В. Измайлова и «Камин» А. П. Хвостовой. Последний фигурирует как анонимное произведение, поэтические достоинства которого тем не менее заставляют поместить его перевод. Карамзин представлен «Сьеррой-Мореной», «Островом Борнгольм», «Моей исповедью», а также «Мыслями об одиночестве» и «Афинской жизнью». Предваряет сборник его статья «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Источники Делакроа, в ряде случаев даже названные в примечаниях переводчика, — «Аглая», «Приятное и полезное препровождение времени» и «Вестник Европы», а также отдельно изданное «Путешествие» Измайлова.

Большинство отобранных Делакроа повестей и отрывков связаны с популярной как в Германии, так и в России предромантической традицией: это несомненно в отношении карамзинских «Сьерры-Морены» и «Острова Борнгольм», оссиановские мотивы пронизывают произведение Хвостовой, а из «Путешествия» Измайлова взяты наиболее экзотические письма (например, о нравах черкесского народа), а также поэтическая история «крымского Вертера»: реализовавшийся на глазах повествователя «Путешествия» гетевский сюжет гибели молодого человека, которому внешние обстоятельства помешали соединиться с его возлюбленной. При этом и Карамзин, и Измайлов в России воспринимались как авторы чистого сентиментального направления, и именно с этой точки зрения критиковались в 1800-е гг. Интересно, что для немецкой публики эти авторы оказывались, благодаря сборнику Делакроа, представителями свежей литературной моды, а русская литература в целом вставала вровень с литературами стран Европы.²³

²³ Говорить о немецкой публике приходится с оговорками, так как, судя по перечню подписчиков, большая часть читателей «Пантеона» — прибалтийские немцы, подданные Российской империи. Однако весьма значительное место среди подписавшихся на издание занимают книгопродавцы собственно немецких земель, в том числе Лейпцига. Стоит в связи с этим отметить положительные рецензии на 2-е издание «Пантеона», появившиеся в немецкой прессе: *Neue Leipziger Literaturzeitung*. 1807. № 128 (9 Oct.). Стб. 2047–2048; *Ergänzungsblätter zur Allgem<eine> Literatur-Zeitung*. 1809. № 3, 4 (7, 10 Jan.). Стб. 17–23, 25–31; *Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung*. 1811. № 249 (31 Oct.). Стб. 206–208.

Выполненные Делакроа для «Пантеона» переводы стали первыми почти для всех включенных в это издание произведений. То, как трепетно переводчик относился к первенству в этом труде, подтверждают оговорки, сопровождающие повторные публикации, как например: «...то, что г. Измайлов написал из Тавриды, так интересно, что, я думаю, как самому автору, так и мне будет извинительно предложить эти письма немецкой публике в новом переводе, помещенном в „Пантеоне“». ²⁴

Как и большую часть следующих изданий Делакроа, «Пантеон» планировалось продолжать (об этом говорит наличие оговорки на титуле «первая часть»), но вместо продолжения вышло переиздание первой и единственной части. Следует отметить, что сборник Делакроа, по-видимому, не рассматривался им в качестве периодического издания, хотя, скажем, на опыт И. Рихтера, издателя журнала «Russische Miscellen» (1803), он и ссылался в предисловии. Могло ли вообще появиться продолжение этого проекта, собравшего образцы сентиментально-предромантической русской прозы за целое десятилетие? С одной стороны, многое уже было переведено, а с другой — не так богат был выбор в области новинок, особенно если вспомнить о наступившем молчании Карамзина. Говоря о цели своего издания, Делакроа отмечал две стороны: знакомство немецких читателей с лучшими произведениями русской литературы (из числа ранее не переведенных), ²⁵ а также пробуждение у русских чувства гордости своей литературой. ²⁶ Судя по успеху издания (читательскому и у критики), для достижения обеих целей вполне хватило первой части «Пантеона». Делакроа, помимо того, что выбирал произведения по художественным достоинствам, а не по потенциальному интересу иностранцев к тем или иным элементам русской жизни, как это было у Рихтера, — не считал нужным снабжать текст примечаниями, полезными для изучающего чужую культуру читателя; в «Пантеоне» важнее оказывается наслаждение от чтения. В этом смысле его сборник приближается, на наш взгляд, к типу альманаха или антологии, ²⁷ которые достигнут расцвета — и как литературные, и как коммерческие предприятия — уже в последующие десятилетия.

²⁴ Pantheon der russischen Literatur... S. 132.

²⁵ «...wie viele schöne Produkte der russischen Literatur <...> blieben bis jetzt unbenuzt — Produkte, die gewiss in jeder Rücksicht verdienen, allgemeiner bekannt zu werden!» (Ibid. S. 6).

²⁶ Ibid. S. 7.

²⁷ См. противоположную точку зрения: *Reissner E.* Deutschland und die Russische Literatur 1800–1848. S. 9.

«ИТАЛЬЯНСКИЕ» МЕНШИКОВЫ

Несколько лет назад Н. Д. Кочеткова привлекла внимание исследователей к пьесе австрийского писателя Ф. Краттера «Александр Меншиков. Трагедия в пяти актах»,¹ созданной в конце XVIII века, которая, почти столетие спустя после первых литературных произведений, изображавших возвышение А. Д. Меншикова, возвращалась к исключительным обстоятельствам, благодаря которым юноша из небогатой семьи (и, как полагали некоторые, низкого происхождения) стал царским фаворитом и одним из самых влиятельных людей империи. Немногие русские исторические лица пользовались в европейской литературе такой же популярностью, как Меншиков, и являлись предметом столь устойчивого и длительного интереса: обстоятельства жизни светлейшего князя как нельзя лучше подходили для изображения радикальных общественных изменений в эпоху царствования Петра Великого, так же как и их крайних последствий.² В итальянской литературе Меншиков также изображался неоднократно, хотя произведения, в которых он выводится, не столь известны, как те, что возникли в других европейских странах, несмотря на их сюжетное сходство.

¹ *Кочеткова Н. Д.* Пьесы Ф. Краттера «Александр Меншиков» и «Девушка из Мариенбурга» (в печати). Хочу выразить благодарность автору за предоставленную мне возможность ознакомиться с текстом сообщения, прочитанным на конференции Study Group on Eighteenth-Century Russia, Durham 2009.

² Библиографические сведения, касающиеся образа Меншикова в европейской литературе см.: *Копанев Н. А.* К формированию образа А. Д. Меншикова в европейской публицистике // Меншиковские чтения 2004. СПб., 2004. С. 48–58; *Беспярых Ю. Н.* Александр Данилович Меншиков: Миф и реальность. СПб., 2005 (см. в особенности, примечания на с. 55–63). Представляет интерес с точки зрения библиографии также: [*Minzloff R.*]. Spécimen du catalogue raisonné des Russica de la Bibliothèque Imperiale Publique de St-Petersbourg. Publications concernant A. D. Menchikow. SPb., 1866.

Вокруг личности Меншикова формируется несколько повествовательных сюжетов, основанных на двух наиболее важных эпизодах его биографии: во-первых, это получившая распространение уже в первой половине XVIII века история о заговоре против царя, якобы раскрытого Меншиковым, и во-вторых, внезапная немилость, сибирская ссылка и смерть. В обоих случаях эти события наводили на размышления о непостоянстве судьбы и переменчивости человеческой участи, о чем говорил уже Вольтер. Подобные же рассуждения можно найти и в исторических сочинениях, например, у Леклерка (итальянский перевод относится к началу XIX века). Еще более непосредственную форму они приобретают в Кратком очерке русской истории Дж. Компаньони: жизнь генералиссимуса, замечает он, подтверждает, что «когда рабу дается какая бы то ни было власть, он обращается <...> в тирана — в большом или в малом, в пределах, до которых его власть простирается, — и в гораздо большей степени, нежели самодержец, сидящий на троне».³ В этом моралистически-дидактическом аспекте образ Меншикова представляется эмблематичным еще в начале XIX века, когда иезуит Л. И. Тюлен выводит его в одном из своих многочисленных диалогов в царстве мертвых,⁴ написанных с целью воспитания юношества в духе Контрреформации и Реставрации. До Тюлена, в предыдущем столетии, Меншиков выступал в знаменитых разговорах в царстве мертвых Д. Фассмана, имевших, однако, скорее публицистический и осведомительный характер. Тюлен, обнаруживая хорошее знание биографии своего героя, пользуется ею для подтверждения своих излюбленных положений, а именно: он говорит, что возвышению в обществе есть множество причин, в то время как падение неизменно вызвано непомерным честолюбием и отсутствием страха Божия. Любопытно, что в том же сочинении через несколько страниц, в 47-м диалоге, Меншикову противопоставлена Екатерина I: в ее уста Тюлен вкладывает слова о том, что даже узурпатора трона можно признать законным монархом, если он примирится с подданными и с Богом.

Однако наибольшей популярностью в литературе, несомненно, пользовались эпизоды из жизни Меншикова, относящиеся ко времени опалы и

³ Compagnoni G. Storia dell'imperio russo compilata dal cav. Compagnoni e pubblicata in continuazione al compendio della Storia universale del sig. Conte di Segur con un supplemento che giunge sino all'incoronazione dell'Imperatore Alessandro 1. oggi regnante. t. V. Milano, Fusi, Stella e Compagni, 1824. P. 103.

⁴ *Thjulén L. I. Dialoghi nel regno dei morti.* Bologna, Tipografia Arcivescovile, 1816–1819. Dialogo n. 43 fra Concino Concini Maresciallo d'Ancre ed Alessandro Menzikoff principe russo. P. 6–106. Автор был шведом, но большую часть жизни провел в Болонье и писал по-итальянски.

ссылки: они предоставляли авторам большую сюжетную свободу, позволяя изображать главного героя и его окружение в самых различных ситуациях, и показать целую гамму психологических состояний. Описывая перипетии сибирской ссылки, писатели удовлетворяли растущий читательский интерес к экзотическим местам; в этих экзотических обстоятельствах самые невероятные совпадения и резкие изменения в характерах действующих лиц представлялись сюжетно и психологически убедительными. Здесь злосчастные ссыльные находили утешение в неожиданном сочувствии и поддержке окружающих. В «диком краю» авторы могли предположить существование более справедливых и простых человеческих отношений и противопоставить их отношениям, царившим в свете и при дворе.⁵ О ссылке Меншикова и его семьи сведений имелось относительно мало: было известно, с каким достоинством вел себя опальный генералиссимус, о том, что жена Меншикова умерла по дороге в ссылку, а одна из дочерей — в Березове. Романический элемент вносили встречи Меншикова с его жертвами и, позднее, появление в Сибири его гонителей, Долгоруких.

Большую роль в беллетризации фактов биографии Меншикова сыграли мемуары Ф. Вильбоа: хотя публикация их относится лишь к середине XIX,⁶ не исключено, что они стали известны до появления их в печати. Так, Ч. Де Микелис полагает, что мемуары Вильбоа повлияли на трагедию «Mentzikoff» Ж. И. Маршана и П. Ж.-Б. Нугарэ (1773), которая в 1776 появилась в переводе на итальянский.⁷ Как бы то ни было, к концу XVIII века индивидуальные черты А. Д. Меншикова почти стираются, многие из связанных с ним эпизодов теряют интерес, историческая достоверность относящихся к нему фактов перестает быть существенной, поскольку он превращается в литературного героя в полном смысле слова; его образ и обстоятельства, в которых он действует, теперь подчиняются законам жанра, требованиям господствующих литературных вкусов и определяются композицией конкретного произведения. Тем не менее сохраняется один

⁵ Об этих аспектах меншиковской темы см.: *Di Salvo M. Menšikov / Mentzikoff / Mincétoff: metamorfosi di un personaggio* (в печати); в особенности в отношении оперы: *Champein S. La Martelière J. H. F. Mentzikoff et Foedor, ou Le Fou de Bérézoff. Opéra en trois actes [...], représenté [...] le 30 Janvier 1808, Paris, s. a.*

⁶ *Вильбоа Н. П.* Краткий очерк, или анекдоты о жизни князя Меншикова и его детях // *Русский вестник*. 1842. № 2. С. 141–173.

⁷ *De Michelis C. G.* II «Mentzikoff»: una sconosciuta tragedia russa del Settecento? // *Rassegna sovietica*. Anno XXXV. Gennaio-Febbraio, 1984. P. 3–40. [Де Микелис Ч. Дж. «Mentzikoff»: неизвестная русская трагедия XVIII века?]. Де Микелис полагает, что трагедия, действительно, принадлежит перу русского писателя, как утверждается в предисловии, и приписывает ее авторство А. П. Шувалову.

характерный признак, позволяющий идентифицировать героя, а именно тот факт, что в юности он торговал пирожками. В этой детали как бы обобщался весь его жизненный путь, что, вероятно, и делало героя узнаваемым для широкой публики. Когда, в 1864 году, писатель-дилетант Л. Дасти пишет драму, изображающую столкновение Петра I с сыном, в толпе царских придворных автором бегло упоминается «знаменитый пирожник, пожалованный в князья», «который по своему хотению управляет царем всея Руси».⁸

С начала XIX века на восприятие личности Меншикова в Италии (как и во всей Европе) оказал сильное влияние роман в письмах А. Лафонтена «Федор и Мария, или Верность до гроба» (1802), пользовавшийся большим успехом и переведенный на многие языки, включая итальянский (1825).⁹ Итальянское название «Мария Меншикова, или Нареченная невеста Петра II», даже яснее, чем немецкое, свидетельствует, что центр внимания с всемогущего царского фаворита сместился на женский персонаж и любовную интригу, которые в большей степени соответствовали вкусам эпохи сентиментализма. Появление прочих действующих лиц, необходимых для развития сюжета (обладающего к тому же большой вариативностью), в каждом отдельном случае зависело от хода событий. Действие строится вокруг главной героини Марии, которую Меншиков собирался выдать за юного Петра II с целью укрепления своей власти, а затем увлек за собой в своем падении. У Лафонтена Мария (мотив, впрочем, уже присутствовавший в трагедии Маршана и Нугарэ, хотя с другими именами) тайно любит Федора, молодого Долгорукого, родственника отцовских врагов. Федор, отвечающий Марии взаимностью, сопровождает ее в Сибирь, предвосхищая некоторым образом, хотя и с инверсией ролей, судьбу жен декабристов. В ссылке Мария, облегчавшая страдания отца и участь многих несчастных, тихо угасает, Федор же, как того требуют законы жанра, продолжает ходить к ней на могилу в ожидании дня, когда смерть вновь соединит его с возлюбленной.

Благодаря Лафонтену образ Марии приобрел особую популярность в эпоху трагических героинь, в том числе и на оперной сцене. Так, во второй половине XIX века Мария возрождается в музыкальной культуре итальянской провинции. Речь идет об опере «Мария Меншикова», либретто которой принадлежит М. Д'Ариенцо, музыка — Ф. Феррари, представленной в театре

⁸ *Dasti L.* Raccolta di drammi e commedie. Milano, 1864. Т. I. P. 128.

⁹ *Lafontaine A.* Fedor und Marie, oder Treue bis zum Tode (1802), в итальянском переводе роман вышел под названием «*María Menzikoff ossia la sposa promessa di Pietro 2*» (1825).

Реджо Эмилия (трудно сказать, имела ли она успех).¹⁰ Произведение распадается на две части: в первой части Меншиков, на вершине власти, противится чувствам Марии и Федора и отправляет его в Сибирь. Против Меншикова объединяются недовольные, которым в конце концов удается добиться от императрицы его ареста. Во второй части, действие которой разворачивается в Сибири, происходит встреча с таинственным благодетелем, тоже ссылкой, который потом оказывается Федором. Федор помилован, он отправляется обратно в Петербург и добивается, чтобы и былого врага его также возвратили из ссылки. При виде подобного великодушия сердце Меншикова смягчается, но слишком поздно: Мария, измученная мытарствами, умирает в объятиях жениха в момент долгожданной свадьбы. Источником сюжета для Д'Ариенцо с большой вероятностью послужили не столько исторические события, сколько роман Лафонтена, но, что особенно примечательно, здесь сказываются традиции музыкального театра: вторая часть, в особенности образ ссылчного благодетеля и идеалиста Федора Долгорукого прямо отсылает к французской опере начала XIX века «Меншиков и Федор, или Безумец из Березова».¹¹ Счастливый конец этой оперы заменяется однако трагическим финалом, как того требовали законы мелодрамы XIX века. Даже с точки зрения языка в либретто Д'Ариенцо очевидны реминисценции из итальянских опер, в первую очередь из «Лючии ди Ламмермур».

Кажется, что язык оперных либретто оказал влияние и на неуклюжие стихи молодого патриота из Бергамо Пазино Локателли, который, среди трагедий, написанных им на самые разные темы в 1843–1844 годах, 21 года от роду, создает пьесу «Князь Меншиков» в пяти актах.¹² В данном случае можно говорить также и о внутржанровой контаминации, поскольку в трагедии явно влияние «Гамлета». У Локателли события происходят в Петербурге, где мы застаем Меншикова в апогее власти, после чего его ждет внезапное падение. Меншиков неотступно следит за своим питомцем Петром II и под предлогом необходимости научить его искусству управлять государством, отдаляет царя от окружающих (прежде всего от Долгоруких), напоминая не то Клавдия, не то Полония. Затем Меншиков пользуется дочерью Марией, искренне любящей юного царя, чтобы следить за всеми

¹⁰ *D'Arienzo M. Maria Menzikoff. Melodramma in cinque quadri. Milano, Ricordi, б. д.* Опера, по всей вероятности, была поставлена весной 1877 г.

¹¹ *Champein S. La Martelière J. H. F. Menzikoff et Foedor, ou Le Fou de Bérézoff. Opéra en trois actes [...], représenté [...] le 30 Janvier 1808. Paris, s. a.*

¹² *II Principe Menzikoff. Рукопись хранится в библиотеке «Angelo Mai» г. Бергамо (шифр: 41R 15(8). L. 304–350).*

его действиями. Петр выходит из повиновения Меншикову, и первым актом непослушания становится расторжение помолвки с Марией, в которой царь видит сообщницу отца. Меншиков лишается власти, одновременно с этим дочь принимает яд и перед смертью появляется в сцене безумия, в котором она между прочим видит Италию.

Не вызывает сомнений, что при выборе подобного сюжета Локателли не мог руководствоваться ни его актуальностью, ни возможностью его расширительного толкования (в духе Эзопа), даже если в пьесе можно усмотреть обличение произвола и деспотизма. Выбор был обусловлен тем, что этот сюжет позволял изобразить сильные страсти, тем более, что пространственно-временная удаленность событий давала возможность их свободной обработки в соответствии с требованиями мелодрамы. В то же время, подобно другим действующим лицам, взятым автором из древней или средневековой истории (император Константин, граф Уголино и т. д.), Меншиков был не совсем уж неизвестен потенциальному зрителю, который, возможно, еще представлял себе, почему тот говорил о себе как о «подлом пирожнике», которого случай вознес управлять судьбами империи.

Ф. Г. ГОЛОВКИН И ЕГО АРХИВНЫЕ НАХОДКИ

Колоритной фигурой графа Федора Гавриловича Головкина (1766–1823) впервые серьезно заинтересовались в середине 1890-х гг., когда двум французским любителям старины Л. Пере (Perey) и С. Бонне (Bonnet), независимо друг от друга, посчастливилось открыть его неизданные воспоминания, пролежавшие без всякого движения почти восемьдесят лет в семейном архиве, в замке близ Лозанны

Отдельные фрагменты этих воспоминаний вскоре были опубликованы во французских журналах и сразу же обратили на себя внимание в России. Так, в 1897 г. Н. К. Шильдер сообщил на страницах «Русской старины» об этой находке, отметив, что «и по этим отрывкам, написанным живым языком, обличающим в их авторе тонкий наблюдательный ум, можно судить о том несомненном интересе и крупном значении для русской исторической науки, которые эти воспоминания представляют в их целом».¹

В 1905 г. воспоминания эти увидели свет полностью отдельной книгой в Париже,² два года спустя были переведены на русский язык и напечатаны в «Русской старине»,³ а позднее вышли отдельной книгой.⁴ С тех пор имя это время от времени появлялось в зарубежной и отечественной печати, а сравнительно недавно Д. Исмаил-Заде переиздала воспоминания в старом переводе, но с обстоятельным комментарием и вводной статьей, в которой подробно изложила биографию мемуариста и охарактеризовала его труд.⁵

¹ Русская старина. 1896. Т. 88. № 11. С. 367–379.

² Comte Fédor Golowkine. La cour et le règne de Paul Ier. Portraits, souvenirs et anecdotes avec introduction et notes par S. Bonnet. Paris, 1905.

³ Русская старина. 1907. Т. 129. № 1–3.

⁴ Головкин Ф. Г. Двор и царствование Павла I. М., 1912.

⁵ Головкин Федор. Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания. М., 2003.

Имя Головкиных встречается в русских анналах с конца XVI в., но на первый план род этот вынесло в петровскую эпоху, когда Гавриил Иванович Головкин (1660–1734), дальний родственник (по матери) Петра I и один из ближайших его сподвижников, стал первым государственным канцлером новой России и получил графский титул. Сын его Александр Гаврилович (1689–1760), любимец Петра, в 1711 г. был назначен русским посланником в Берлине, в 1727 г. переведен в Париж, а еще через три года — в Гаагу. После восшествия на престол Елизаветы Петровны ему был официально предложен пост государственного канцлера, который некогда занимал его отец, но он отклонил это весьма заманчивое предложение и все последующие годы провел в Голландии, в замке Рисвик, наследственном владении своей жены графини Дона, под влиянием которой перешел в протестантизм. К этой конфессии принадлежали и все его многочисленные дети.

Один из его сыновей, Гавриил, официально именовался уже Габриэлем-Мари-Эрнестом и женился он, как и отец, на голландке, в России он никогда не бывал и едва ли к этому стремился. Аналогичная судьба была уготована и его сыновьям, но в 1783 г., конечно, с согласия русского двора, решено было отправить двоих из них в Петербург с тем, чтобы они смогли занять там положение, подобающее представителям столь знатного рода.

Среди этих «счастливых» был Теодор, или как его все звали и как он сам себя называл, Федор Головкин. На первых порах все складывалось для него наилучшим образом: просвещенный, умный и остроумный юноша был сделан камер-юнкером при императрице, которая отнеслась к нему более чем благосклонно, вскоре стал своим человеком при дворе и постепенно превратился из неоперившегося иностранца в весьма заметную и влиятельную личность.

Мешала графу лишь независимость нрава и еще более — неосторожность в поведении и высказываниях, и дело кончилось почетной ссылкой в качестве посла при Неаполитанском дворе, откуда он был вскоре отозван и до конца екатерининского царствования так прощен и не был. Но и при Павле I ему пришлось нелегко. Граф был назначен вторым (что он счел для себя оскорбительным) церемониймейстером двора и старался, как мог, выполнять свои обязанности, но решительное неприятие им деспотизма нового императора и их давняя взаимная антипатия сделали его существование почти невыносимым. Убийство Павла развязало Головкину руки, и хотя теперь можно было рассчитывать на перемены к лучшему, он все же предпочел вернуться в более предсказуемую и милую его сердцу Европу.

По всей вероятности, Головкин искренне желал остаться в России, с которой был связан происхождением, родственными и дружескими отношениями, да и женат он был на Наталье Петровне Измайловой. Но по крови,

языку, воспитанию и образованию он был уже человеком не вполне русским; большое значение имели для него и привычка к европейскому укладу жизни, и близость к европейским элитам, и «вписанность» в европейскую политическую и культурную среду.

Так или иначе, но свою историческую родину Головкин покинул навсегда и несмотря на то, что в дальнейшем много ездил и подолгу жил в Париже и во Флоренции, большую часть того времени, которое ему было отпущено, тихо прожил во французской Швейцарии, близ Женевского озера, в так называемой *Pays de Vaud*, недалеко от Лозанны. Продолжая интересоваться политикой, встречаясь и переписываясь с многочисленными знакомыми и приятелями, он с все большим увлечением предавался литературным занятиям, что выделяло его (хотя это был случай далеко не единственный) из круга русских аристократов, волею судеб осевших за границей. Русским языком он не владел и писал, как и многие люди его круга, по-французски.

Помимо мемуаров, работу над которыми Головкин так и не окончил (хотя не исключено, что их заключительная часть, посвященная, скорее всего, мартовским событиям 1801 г., была кем-то выкрадена и уничтожена), он опубликовал два морально-дидактических трактата — «*Considérations sur la constitution morale de la France*» («Рассуждения о моральном состоянии Франции», 1815) и «*De l'éducation dans ses rapports avec le gouvernement*» («О воспитании в его отношениях к государственному устройству», 1818) и роман «*La princesse d'Amalfi*» («Княгиня Амальфи», 1821), а также сборник «*Lettres diverses recueillies en Suisse*» («Разные письма, собранные в Швейцарии»), увидевший свет в том же 1821 г. одновременно в Женеве и Париже.⁶

На сей раз Головкин предстал перед читателем в качестве публикатора и комментатора своих швейцарских архивных находок, и, поскольку подобные занятия не очень вязались с его репутацией аристократа-бонвивана и великосветского льва, он счел необходимым объяснить это обстоятельство в обширном предисловии к книге.

«До середины XVIII века, — утверждал Головкин, — Швейцария была известна лишь доблестью своих воинов и неподкупностью должностных лиц. Знали о чудесах, совершенных там во имя свободы, но свобода еще не была тогда в моде; известно было, что швейцарцы не раз в большой степени способствовали славе своих союзников, но вообще в них видели

⁶ *Lettres diverses, recueillies en Suisse, par le Cte Fedor Golowkin, accompagnées de notes et d'éclaircissemens. Genève, Paris. J. J. Paschoud. 1821 (428 p.).*

лишь храбрецов, которые с честью проливали кровь за щедрое вознаграждение. Они рассказывали, что страна их покрыта неприступными горами, что ее разрезают бурные потоки, но поскольку она считалась и очень дикой, и очень бедной, а живописный и романтический жанры еще не слишком ценились, никто не помышлял такую страну делать объектом своих изысканий».⁷

Однако, продолжал он, со временем ситуация стала меняться: страна начала привлекать к себе отовсюду самых разных людей, к какому бы полу, возрасту и сословию они ни принадлежали, «и посещение Швейцарии стало обязательным для всех, кто стремится к знаниям и чувствует себя способным получать удовольствие и испытывать восхищение вне стен салона и театрального зала».⁸ Естественно, что особенно сильно их притягивали к себе «величественные Альпы с их вечными ледниками» и другие ни с чем не сравнимые пейзажи, равно как и следы римского владычества и памятники средневековья, но не меньше значило для них и то, что это была страна Бернулли и Эйлера, Галлера и Гесснера, Бонне, Лафатера и, конечно, Жан-Жака Руссо «с его пленительными описаниями и блестящими софизмами». «Какой она показалась им прекрасной, и сколь счастливыми показались ее жители! — восклицал Головкин и далее отмечал, что это впечатление приобрело устойчивый характер, и количество людей, посетивших эту древнюю землю и там оставшихся, свидетельствовало о том, что воодушевление, в основе которого лежат восторг и уважение, не зависит ни от непостоянства сердца и ума, ни от всевозможных бредней, ни от тиранических колебаний моды. И в самом деле, если речь идет о чистых наслаждениях, то вдохновение ищет пригодной для этого среды, науки жаждут ничем не нарушаемого покоя, который благоприятствует размышлениям, философия стремится изучать человека вдали от пагубных соблазнов, светские успехи побуждают к поискам убежища от несправедливости и зависти, и даже в жизни самых обычных людей, особенно достигших определенного возраста, случаются минуты усталости, когда они испытывают необходимость в отдыхе и желание вновь обрести приятные ощущения и тихие радости, и с полным основанием могут надеяться на то, что религию и чувственность удастся примирить на лоне природы».⁹

«Швейцария, — иллюстрировал Головкин свою мысль, — предлагала все это, предлагала везде и на тысячу ладов», и не случайно в ней нашли желанное убежище Вольтер, Гиббон, Рейналь и множество других людей,

⁷ *Lettres diverses, recueillies en Suisse...* P. 1–2.

⁸ *Ibid.* P. 3.

⁹ *Ibid.* P. 3–4.

«не столь знаменитых, не столь прославленных, но, конечно, не менее уважаемых, которым дано от рождения ценить преимущества свободы, основанной на очаровании места, характере и нравах жителей и благороднейших воспоминаниях».¹⁰ К этим последним граф скромно причислял и себя: «Утомленный бурями, которые обрушились на Европу в начале нынешнего века, и я, в свою очередь, обосновался в Швейцарии в поисках спокойствия, которое было невозможно более найти нигде в другом месте».¹¹ Там он со временем получил возможность оглянуться назад и напомнить современникам о безвозвратно ушедшей эпохе надежд на всеобщее благоденствие и мир, публикуя обширный комплекс вновь обнаруженных им писем, относившихся ко второй половине XVIII века.

Правда, он думал, что письма эти не слишком интересны, но все же надеялся, что они добавят «какие-то новые краски» к портретам хорошо известных людей, которые уже покинули «большую сцену мира» и благодаря его стараниям посмертно обретут друзей, «достойных понять их и способных о них судить».¹²

История создания этого сборника недавно была прояснена швейцарским исследователем Леонаром Бюрнаном.¹³ Он, в частности, установил на основании изучения ряда документов, хранящихся в кантональном архиве (Archives cantonales vaudoises), что большую, а, возможно, и решающую роль в этом процессе сыграл Самюэль Клавель де Бранль (Clavel de Brenles, 1760–1843), предоставивший в распоряжение любознательного графа материалы своего семейного архива и активно участвовавший в их комментировании, поскольку адресатами писем были, за редкими исключениями, его родители — Жак-Абрам-Эли-Даниэль Клавель де Бранль (1717–1771), лозаннский юрист, дело которого успешно продолжал его сын, и его супруга Этьеннетта, урожденная Шаванн (Chavannes, 1724–1775 или 1780). Оба они были видными представителями местного дворянства, и их городской дом, а также родовое имение (le château d'Ussières) являлись центрами притяжения для культурной элиты того времени.

Главная ценность этого комплекса — 48 писем Вольтера, которые давно стали неотъемлемой частью эпистолярного наследия великого просветителя, в чем нетрудно убедиться, ознакомившись с любым сколько-нибудь

¹⁰ Ibid. P. 4–5.

¹¹ Ibid. P. 8.

¹² Ibid. P. 9.

¹³ См.: *Burnand Léonard. Fédor Golowkin sur les traces de Voltaire: genèse des «Lettres diverses recueillies en Suisse» // Revue Voltaire. 2011. № 11. P. 265–271.*

полным изданием его переписки.¹⁴ Однако и остальные письма, включенные в сборник, весьма интересны с разных точек зрения. Так, сравнительно небольшая подборка писем Анн де Шандье (Chandieu), иначе — мадемуазель де Шабо (Chabot), в замужестве — Клавель де Марсанс (Clavel de Marsens), содержала любопытные сведения о местных нравах и обычаях, о привычном семейном укладе, о традиционных женских занятиях, а в письмах Жюли де Бондели (Bondely) по преимуществу говорилось о ее чтениях и более всего о «Новой Элоизе» Ж.-Ж. Руссо, горячей почитательницей которого та была.

Весьма обильно в книге было представлено эпистолярное наследие г-жи Неккер (Necker, 1737–1794), урожденной Сюзанны Кюршо (Curchod). Ее переписка с Э. Клавель де Бранль началась еще в Швейцарии и продолжилась после того, как эта дочь деревенского пастора вышла замуж за удачливого финансиста (а впоследствии министра Людовика XVI) Жака Неккера (Necker, 1732–1804), и семейство перебралось в Париж. Там г-жа Неккер посвятила себя филантропической деятельности и стала хозяйкой модного литературного салона. Своей подруге она исправно сообщала о выходе новых книг, театральных премьерах, о посетителях ее салона, обильно цитировала стихи, рассказывала городские сплетни, делилась с ней своими мыслями и переживаниями.

В книгу вошло 41 письмо г-жи Неккер к г-же Клавель де Бранль, а также 4 ее письма к г-ну Клавель де Бранлю и 1 письмо Жака Неккера к г-же Клавель де Бранль; кроме того, там были приведены два письма, адресованные г-же Неккер в связи с обсуждением в ее салоне перевода трагедии Аддисона «Катон», сделанного г-жей Клавель де Бранль: одно из них принадлежало Ж.-Б.-А. Сюару, другое — А.-Л. Тома; оба они были завсегда таями этого салона.

Большинство писем Головкин снабдил подстрочными примечаниями. В них он, как мы теперь знаем, с помощью С. Клавель де Бранля прокомментировал имена почти всех действующих лиц, географические названия и исторические факты, а также бытовые реалии, приводил выдержки из ученых трудов, причем в ряде случаев эти примечания превращались в самостоятельные очерки, превосходившие по объему текст публикуемого письма. Подчас Головкин выражал свое отношение к автору письма или его корреспонденту, соглашался с ним или полемизировал, одобрял его мысли или решительно их отвергал. Попутно напомним о том, что с единствен-

¹⁴ Оригиналы писем хранятся в Отделе рукописей Лозаннской кантональной и университетской библиотеки (Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne). См.: *Burand Léonard. Fédor Golowkin sur les traces de Voltaire*. P. 267.

ной дочерью супругов Неккер — будущей мадам де Сталь — Головкин был хорошо знаком, что, скорее всего, способствовало его особому интересу к ее семье.

Таков был в самых общих чертах этот труд русского аристократа, воскресившего ряд забытых эпизодов из истории швейцарского общества XVIII века. Выше уже шла речь о том, что он был широко востребован издателями переписки Вольтера. Отметим также, что он, хотя и нечасто, фигурирует в литературе о мадам де Сталь.¹⁵

¹⁵ См., например: *Pflaum Rosalynd. La famille Necker. Madame de Staël et sa descendance.* Paris, 1969. P. 49; *D'Andlau B. La jeunesse de Madame de Staël.* Genève, 1970. P. 17, 21; *Diesbach, Ghislain de. Madame de Staël.* Paris, 1983. P. 25.

ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ОТЗЫВЫ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА В АНГЛИИ

Известия о жизни и творчестве Пушкина, доходившие до английской публики при жизни поэта, недавно стали предметом всестороннего исследования В. Д. Рака.¹ Свое исследование он завершает указаниями на первые сообщения о дуэли и смерти Пушкина, появившиеся в британской прессе в марте 1837 г. К сведениям В. Д. Рака можно добавить несколько мало- или вовсе неизвестных упоминаний этих трагических событий, сделанных англичанами в период до 1841 г., чему и посвящена настоящая заметка.

И «The Times», и «The Morning Chronicle» 1 марта 1837 г. вышли с одним и тем же известием: неподписанным письмом, отправленным 11 февраля (по новому стилю) из Санкт-Петербурга.² «Прославленный поэт Пушкин» характеризовался здесь как «поэт русской нации и патриот, хотя и не без либерального уклона, который он соединял со своим гением, отчего сочинения его вызывали беспокойство и тревогу». За этой характеристикой следовало весьма точное описание предпосылок дуэли, спровоцированной поведением «D'Antais-Heeckeren» (Дантеса), и гневных чувств русской публики, «не сдерживающей ни скорби от его утраты, ни возмущения обстоятельствами и лицом, ставшим всему причиной».

¹ Рак В. Д. Прижизненная известность Пушкина за рубежом: Англия (Великобритания) // Пушкин и мировая литература: материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб., 2004. С. 245–254 (Пушкин. Исследования и материалы. Т. 19–20).

² Английский текст из «The Morning Chronicle» и его русский перевод см: Шеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: исследование и материалы. Пг., 1916. С. 255–256. Его появление в «The Times» (1 March 1837, p. 6, col. 1) упомянуто в указателе А. Ярмолинского: Pushkin in English: A List of Works by and about Pushkin. 1799–1837–1937 // Bulletin of the New York Public Library. 1937. Vol. XLI. P. 552.

Хотя никаких сведений об авторе заметки не приводилось, можно предполагать, что это был если и не кто-либо их служащих английского посольства, то, во всяком случае, представитель британской диаспоры в Петербурге, достаточно хорошо информированный о произошедших событиях. Переписка Артура Меджниса (Arthur Magenis, 1801–1867), советника посольства, которого Пушкин просил стать секундантом на дуэли, не сохранилась.³ Сам посланник, Джон Лэмбтон (John Lambton, 1742–1840), 1-й герцог Дюрэмский, насколько известно, ничего не упоминал о дуэли в своих донесениях вплоть до послания от 3 мая 1837 г., где он всего лишь сообщает о вердикте военного суда в отношении Дантеса и об отзыве его приемного отца, влиятельного голландского посланника барона Геккерена, от русского двора.⁴

28 февраля 1837 г. (накануне публикации упомянутого сообщения лондонскими газетами) из записки в «*Le Journal des débats*» о смерти Пушкина узнал проживавший в Париже англичанин, дважды в Петербурге встречавшийся с поэтом за ужином — 23 декабря 1829 и в конце февраля 1830 гг.⁵ Томас Рэйкс (Thomas Raikes, 1777–1848), банкир, более известный как денди, друг Дж. Браммела, завсегда модных лондонских клубов, в это время готовил к изданию дневник своего путешествия в Россию, вышедший в свет в следующем году. Он перевел встретившуюся ему заметку на английский и включил ее в объемное примечание к описанию своей первой встречи с Пушкиным.⁶ Его мнение о поэте, часто упоминаемое пушкинистами как образец снисходительного, поверхностного и основанного на

³ Известно лишь письмо, отправленное им Пушкину 27 января, где приведены причины для отказа. О Меджнисе см.: *Черейский А. Л. Пушкин и его современники*. 2-е изд. Л., 1988. С. 257–268.

⁴ *Щеголев П. Е. Дуэль и смерть...* С. 204–205. Щеголев верно указывает, что дуэль не упоминается в издании: *Reid S. J. Life and Letters of the First Earl of Durham 1792–1840*. London, 1906; но не исключено, что обширный материал о пребывании Дюрэма в России, в том числе не только сборник его писем, но и личный журнал могут содержать соответствующую информацию. Описание его бумаг см.: *Hartley J. M. Guide to Documents and Manuscripts in the United Kingdom Relating to Russia and the Soviet Union*. London, 1987. P. 414.

⁵ *Raikes T. A Portion of the Journal kept by Thomas Raikes, Esq., from 1831–1847: Comprising Reminiscences of Social and Political Life in London and Paris during that Period*. London, 1857. Vol. III. P. 129–30. О соответствующей французской заметке см.: *Щеголев П. Е. Дуэль и смерть...* С. 249.

⁶ *Raikes T. A Visit to St Petersburg, in the Winter of 1829–30*. London, 1838. P. 78–88. Английский текст и русский перевод обоих фрагментов о Пушкине см.: *Глинка С. Англичанин о Пушкине зимою 1829–1830 гг. // Пушкин и его современники*. Л., 1927. Вып. XXXI–XXXII. С. 105–110.

плохой информированности взгляда английских туристов на русскую литературу в целом и ее первого поэта в частности,⁷ не изменилось со смертью Пушкина: великодушные царя тронуло Рэйкса больше, чем кончина его петербургского знакомца.⁸

В 1839 г. Роберт Бреммер, сведения о котором крайне скудны, издал книгу «Поездки по внутренним областям России» (*Excursions in the Interior of Russia*), где описал впечатления от путешествия в конце лета 1836 г., ставшего частью большого вояжа по Европе. Несмотря на скудость своих знаний, в книге среди прочего он приводит также обзор состояния журналистики и литературы в России, которые, по его мнению, «стремительно развиваются». Он сообщает, что «из всех их поэтов наибольшей славой известен Пушкин, о коем говорят, что, избегая подражания, он немало схож в своей манере с Байроном», а в сноске сообщает о смерти поэта «вскоре после нашего отъезда из Петербурга» и замечает, что «причины, как, впрочем, и все развитие этого скорбного (*melancholic*) происшествия слишком отвратительны, чтобы описывать их подробно».⁹

Имя сэра Остина Генри Лаярда (*Austen Henry Layard*, 1817–1894), известного путешественника; археолога, обнаружившего стены ассирийской Ниневии; историка искусства, дипломата и политика никогда, сколько мне известно, не упоминалось в контексте английского восприятия Пушкина или даже России в целом. Лишь в автобиографии, опубликованной посмертно (1903), он кратко описывает путешествие, предпринятое им на двадцать втором году жизни (осенью 1838 г.) по Дании, Швеции, Финляндии и России.¹⁰ И хотя в Петербурге он провел только несколько недель перед возвращением в Лондон, но за это время настолько погрузился в жизнь и культуру российской столицы, что его свежие знания были использованы при подготовке тома о России и Скандинавии в серии путеводителей, основанной в 1836 г. Джоном Мюрреем. Возможно, что спутником Лаярда (в это время он проходил практику в юридической фирме своего дяди)

⁷ См., например: *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи. XVIII — первая половина XIX века. М., 1988. С. 585–587.

⁸ Рэйкс не упоминает последовавшую подробную и сочувственную статью в той же газете (номер от 3 марта), написанную лично знакомым с поэтом Ф.-А. Лёв-Веймаром (*François-Adolphe Loève-Veimars*, 1801–1854).

⁹ *Bremmer R.* *Excursions in the Interior of Russia; Including Sketches of the Character and Policy of the Emperor Nicholas, Scenes in St. Petersburg, &c. &c.* London, 1839. Vol. I. P. 279–280.

¹⁰ *Layard A. H.* *Autobiography and Letters from his Childhood until his Appointment as H. M. Ambassador at Madrid / Ed. by the Hon. William N. Bruce, with a chapter on his parliamentary career by the Rt. Hon. Sir Arthur Otway.* London, 1903. Vol. I. P. 96–97.

в поездке был барристер (адвокат, имеющий право выступать в высших судах) Томас Денман Уотли (Thomas Denman Whatley, 1809–1853). Уотли, подписывавшимся акронимом «Т. Д. W.», была написана большая часть текста путеводителя, а несколько фрагментов Лаярда устанавливаются по инициалам «Н. L.» (используемым в быту именем было «Генри», а не «Остин»)¹¹.

В обширной сноске к разделу «Литература, образование и пр.» Лаярд привел краткий обзор состояния русской литературы, полагая, как и прочие английские наблюдатели, что в России охотно поощряются «те, что решаются вступить на путь словесности».¹² Не без изящества отдав должное Карамзину, в этом обзоре Лаярд создал также хотя и краткую, но наиболее яркую из доступных на тот момент английскому читателю похвалу (некролог) Пушкину. Несмотря на несомненные способности к языкам, Лаярд не владел русским, и во время своего пребывания в Петербурге опирался на сведения, которые мог почерпнуть от своих франко- и англоязычных знакомых, очевидно, судивших о поэте весьма высоко. Так, Уотли в нескольких строках, посвященных русской литературе, сообщал, что «более всего из современных поэтов почитаются Крылов (Kueloff) и Александр Пушкин», между тем Лаярд в своем известии о Крылове пишет, что «он вовсе лишен таланта и даже воображения», однако с уверенностью заявляет, что Пушкин — «наиболее выдающийся поэт из всех, что появлялись до сих пор в России» и (в соответствии со сложившейся к этому времени традицией) добавляет, что «его часто называют северным Байроном, и талант его, равно как и нрав, подлинно находит немало общего с английским поэтом».

Преувеличивая кавказский опыт Пушкина, особые похвалы Лаярд воздает «Кавказскому пленнику»: «Он сам отличился там бесстрашием, и даже бывал в стычках со свирепыми горцами. Во время своего путешествия по этому дикому краю он написал своего „Кавказского пленника“ — поэму, превосходную как по правдивости и яркости описаний, так и по бесстрастной картине бессмысленной и кровавой войны». Подробно остановившись на «одном из последних и наиболее известном его сочинении», «Оде

¹¹ Lister W. B. C. A Bibliography of Murray's Handbooks for Travellers and Biographies of Authors, Editors, Revisers and Principal Contributors. Dereham, 1993. P. 15. Лаярд сообщал информацию о Дании, Финляндии и России, а также сверял корректуру.

¹² [Whatley T. D.; Layard A. H.] A Hand-book for Travellers in Denmark, Norway, Sweden and Russia: Being a Guide to the Principal Routes in those Countries with a Minute Description of Copenhagen, Stockholm, St Petersburg and Moscow. London, 1839. P. 161–163.

к Польше» (т. е. «Клеветникам России»), и на незаконченной истории Петра I, о которой ему «человек, читавший их [написанные главы. — Э. К.] и способный достоверно судить о их достоинствах, сообщил, что они превосходят по красоте стиля все прочие сочинения на русском языке», Лаярд обращается наконец к рассказу о дуэли и смерти поэта. Упомянув об ухаживаниях Дантеса за Н. Н. Пушкиной и гневе поэта, приведшем к дуэли, он пишет: «Пушкин упал при первом выстреле. Он настоял, чтобы вновь принесли оружие. Но он ослабел уже от потери крови, и рука его была слишком некрепка, чтобы ранить противника. Пушкин умер на следующий день после дуэли». Лаярд заключает наконец: «Так бесславно и безвременно скончался один из величайших людей, украшавших до сих пор русскую литературу. Вместе с Карамзиным он ввел язык в рамки определенных правил сочинения и вполне показал красоты, на которые он способен. Даже самые выдающиеся русские писатели, остающиеся в живых, признают, что лишь Карамзин и Пушкин были способны писать на этом сложном языке с такой легкостью».

Наконец, еще одно свидетельство исходит от человека, который никогда не посещал Россию, но чье знание русской литературы и искусства XVIII и начала XIX вв. в его эпоху было в Англии непревзойденным, хотя его вклад в русско-английские литературные и культурные связи до сих пор остается недооцененным.¹³ Вильям Генри Лидс (William Henry Leeds, 1786–1866) был, пожалуй, единственным человеком в Англии, кто внимательно следил за творчеством Пушкина с 1828 г. и до смерти поэта, и пришел к многостороннему, хотя и не полному осознанию его достижений. Между тем он не откликнулся на новости о смерти Пушкина специальными работами, хотя две статьи 1838 г. в «Foreign Quarterly Review» упоминают о соответствующих событиях. В обзоре «Художественной газеты» Н. В. Кукольника на 1837 год он упоминает «несколько портретов скончавшегося недавно Александра Пушкина» и — подобно предыдущим авторам, в сноске — сообщает, что «этот чрезвычайно популярный поэт был убит на дуэли в начале нынешнего (1837) года; жизнь его пресеклась в тридцать семь лет — возрасте, когда он мог ожидать еще упрочения своей славы новыми образцовыми сочинениями, достойными его талантов. После его смерти было объявлено о подготовке полного собрания его сочинений, в шести томах 8°, в пользу его вдовы и детей».¹⁴ В следующем томе Лидс упомянул,

¹³ Cross A. William Henry Leeds and Early English Responses to Russian Literature // «A People Passing Rude»: British Responses to Russian Culture / Ed. by A. Cross. Cambridge, 2012. P. 53–68.

что в выпуске «Современника» на 1837 год «помещены различные прежде не публиковавшиеся сочинения недавно умершего Александра Пушкина, выкупленные для вспомоществования его семье», и, наконец, кратко рассказал о незавершенном «Арапе Петра Великого» и статье о Мильтоне и переводе Шатобриана из «Потерянного рая».¹⁵ В 1841 г. в рецензии на 1 том «Энциклопедического лексикона» и «Словарь русских светских писателей» Евгения (Болховитинова) в «Westminster Review» Лидс показал, что его мнение о Пушкине было во многом неоднозначным и отчасти завистливым. Он заявил, что «Пушкин, возможно, смог стать русской версией Байрона, с некоторой примесью Гете, и так новизна формы, в которой ему нельзя отказать, создала ему среди соотечественников славу оригинальности», и что русскому поэту так и не удалось создать сочинение достаточно масштабное, которое было бы необходимо, чтобы его можно было ввести в число великих. В этом месте Лидс делает еще одно примечание, оценивая дуэль — теперь уже как дело прошедшее: «Что Пушкин пал (как и Джон Скотт, редактор «London Magazine») в зените жизни жертвой обычая дуэли — равно жестокого и бессмысленного, известно, пожалуй, большинству наших читателей», и продолжает: «значительно менее известно, что незадолго до смерти он внимательно читал новейших английских поэтов и решил перевести „Драматические очерки“ Барри Корнуолла».¹⁶

В том же году Лидс создал и свое заключительное сочинение о Пушкине — в ряду многих статей о русских писателях, написанных для издававшейся Обществом для распространения полезных знаний «Penny Cyclopaedia», таким образом сделав Пушкина в перспективе доступным новой, широкой аудитории английских читателей.¹⁷ Статья эта — краткий, но в целом доброжелательный рассказ о творчестве, строящийся в основном на анализе южных поэм, «Полтавы» и «Бориса Годунова», где «Евгений Онегин» упоминается лишь в нескольких невесторженных строках как «сочинение откровенно в духе „Беппо“ Байрона, род романа в стихах, описывающего быт и нравы русских столицы и провинции; общепризнано, что герой его, имя которого помещено в заглавии, создавался Пушкиным как собственный поэтический портрет». О гибели поэта Лидс пишет: «Причиной его смерти стала рана, полученная на дуэли с неким офицером; после двухдневных страданий, доходивших порой до чрезвычайной агонии,

¹⁴ Foreign Quarterly Review. 1838. Vol. XX. P. 338.

¹⁵ Ibid. 1838. Vol. XXI. P. 74–75.

¹⁶ Westminster Review. 1841. Vol. XXVI (July-August). P. 40–41.

¹⁷ The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. London, 1841. Vol. XIX. P. 136–137.

он умер в Санкт-Петербурге 29 января (10 февраля) 1837 года, на тридцать восьмом году жизни». Эта статья в справочнике очевидно показывает: к 1841 г. для английской публики Пушкин перестал быть действующим лицом современной литературы и занял место лишь в истории словесности.

Перевод с англ. А. А. Костина.

СОДЕРЖАНИЕ

От Редакции	3
<i>С. И. Николаев.</i> «И мы яблока пльвем» (из фразеологии журнальной полемики 1769 г.)	7
<i>Н. Ю. Алексеева.</i> Переложение-переосмысление А. П. Сумароковым 83 псалма	17
<i>П. Е. Бухаркин.</i> «Опыт Российского сословника» в контексте литературной деятельности Д. И. Фонвизина	24
<i>Л. Росси.</i> «Улиссовы спутники» М. Н. Муравьева и «Улисс и его спутники» Я. Б. Княжнина	36
<i>Е. Д. Кукушкина, А. О. Демин.</i> «Освобожденная Ветилуя» П. Метастазियो в переводе Ф. В. Генша	44
<i>М. Левитт.</i> Стихотворение Державина о княгине Дашковой: к проблеме их взаимоотношений	52
<i>И. Клейн.</i> Похвала властителю: «Гимн Кротости» Державина	63
<i>А. О. Дёмин.</i> Рукопись Г. Р. Державина в ИРЛИ	79
<i>А. Ю. Веселова.</i> А. Т. Болотов и Н. М. Карамзин о задачах литературной критики	84
<i>Р. Бодэн.</i> О возможном источнике «Путешествия из Петербурга в Москву»: Александр Радищев и Франсуа Верн	93
<i>А. А. Костин.</i> Еще раз о тексте сибирских записок А. Н. Радищева	106
<i>К. Ю. Лапто-Данилевский.</i> Н. А. Львов — посвяtitель, меняющий маски	115
<i>В. Д. Рак.</i> К творческой биографии В. М. Протопопова	126
<i>Р. Ю. Данилевский.</i> «Свободность к таковым упражнениям». Страница из тетради XVIII века	136
<i>И. Ю. Фоменко.</i> «Русский Вертер» — Маслов или Матвеев: к вопросу о прототипе героя повести А. И. Клушина «Вертеровы чувствования, или Несчастный М.»	139
<i>А. Вачева.</i> Мемуары Анны Евдокимовны Лабзиной: между житием и нравоучительным трактатом	145
<i>Э. Хексельшнайдер.</i> Лейпциг XVIII века в восприятии русских путешественников	154
<i>А. Ю. Соловьев.</i> Немецкая антология русской сентиментальной прозы и ее издатель	164
<i>М. Ди Сальво.</i> «Итальянские» Меншиковы	171
<i>П. Р. Заборов.</i> Ф. Г. Головкин и его архивные находки	177
<i>Э. Кросс.</i> Первые печатные отзывы на смерть Пушкина в Англии	184

Научное издание

АОНИДЫ

Сборник статей в честь Н. Д. Кочетковой

Ответственные редакторы:

Н. Ю. Алексеева, А. А. Костин

Научное издательство «Альянс-Архео»

Главный редактор издательства *О. Л. Новикова*

Корректоры *П. А. Енбаев, А. С. Меньшов*

Компьютерная верстка и дизайн *Р. К. Жумабаев*

Подписано в печать 26.08.2013. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Гарнитура Таймс. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. изд. л. 18. Усл. печ. л. 12.

Тираж 300 экз. Заказ №

ООО «Альянс-Архео»

105043, Москва, ул. Первомайская, д. 40/19, оф. 38

тел./факс:

— в Москве (499) 165-31-87

— в Санкт-Петербурге (812) 517-77-31

E-mail: aarheo@mail.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ООО «Контраст».

192007, Санкт-Петербург,

пр. Обуховской обороны, д. 38, лит. А